

**Борис Львович Васильев**  
**Неопалимая купина**  
**Повесть**

\*\*\*

Детей у нее не было.

Были три ранения (два легких и одно тяжелое), были контузия и два инсульта. Были три ордена — Отечественной войны I степени и два Красной Звезды. Были медали — две «За отвагу» и одна «За боевые заслуги». Были всяческие значки, билет инвалида Великой Отечественной войны, право ношения формы в День Победы, комната в двухкомнатной квартире, хорошие, прямо как родные, соседи и бездомная студентка Тонечка.

А вот детей у Антонины Федоровны Иваньшиной никогда не было. Один раз, правда, началась в ней иная жизнь, и она счастлива была без меры и только боялась признаться ему, любимому, виновнику этой иной жизни, чтобы не отправили в тыл, чтобы не разлучили раньше времени. Но все равно разлучили, только зря хитрила. Пуля разлучила. Убила и любовь ее единственную, и все надежды разом. Отрыдалась тогда Антонина и пошла к врачу.

— Вырезайте.

— Лейтенант Иваньшина, подумайте...

— Мне воевать надо, а не рожать. Я этому больше обучена.

— Антонина, пойми, это же очень опасно для будущего. Ты женщина, у тебя есть долг.

— Рожать — это не долг, это физиология. Долг — умирать, когда не хочется.

Да оно бы, может, и это обошлось, если бы не то болото в апреле. Сутки пролежала в нем: не подстрелили, не оглушили даже, а через три дня — боли, температура, госпиталь. Воспаления, осложнения да вещмешок лекарств.

— Не все еще потеряно, Иваньшина. Лечение, режим, санатории. Надо бороться с недугом.

— Поживем — увидим, товарищ полковник медицинской службы. А пока будем воевать.

А через полгода — контузия. Сухим закаменелым комом — точно в поясницу, в позвонок, и будто переломили ее тогда: до сей поры боль та помнится. Три часа отлеживалась, а потом поднялась кое-как.

— Вперед, мужики, вперед, родимые. Нам высотку приказано взять, и я ее возьму. Что, славяне, смотреть будете, как баба под пули ползет?

Это всегда действовало, и все об этом знали. Комбат как-то отказался ее роту старшему лейтенанту из пополнения передать, и командир полка поддержал его:

— Лучше Иваньшиной командира роты у меня в полку нет. Но все кончается, даже война, а миру не нужны командиры рот в юбках. В атаку больше поднимать нет надобности, и все мужики сразу становятся очень смелыми. И в августе сорок пятого командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Иваньшина прибыла в распоряжение военкома родного города.

Через город тоже прошла война, почти все в нем сгорело или было взорвано, родные и знакомые исчезли бесследно и навсегда и старший лейтенант Тонечка жила в подвале, где размещался горвоенкомат. Получила по вещевому довольствию два одеяла, постельный комплект и подушку. Утром прятала в шкафу с нескретной перепиской, вечером расстилала на военкомовском (самом

большом) столе — и до утра на одном боку. Даже сны не снились: отсыпалась Иваньшина за всю бессонную войну.

— Антонина, чего учиться не идешь, чего вола крутишь?

Военком был грузен, сед и сипат, с простреленными еще на гражданской легкими («Это у вас они — легкие, — шутил, бывало, — а у меня... как свинцовый сурик»). На фронт его не пустили, и поэтому он хмуро опекал фронтовиков вообще и Антонину в частности.

— Демобилизуют не сегодня, так завтра, и куда ты тогда?

— Строить, товарищ майор. Гады всю страну пожгли да порушили. А учится пусть тот, кто настоящего дела боится.

Вздыхал военком, спорить сил не было. Убили его силу: старшего сына — в сорок втором на Дону, младшего — в сорок пятом на Одере. А в Антонине еще фронтовой завод не кончился. Еще рвалась куда-то, еще в бриджах ходила, еще пистолет на ночь под подушку клала. И темной октябрьской ночью привычно рванула его оттуда:

— Кто? Стреляю!

— Свои. Не пальни с перепугу.

Щелкнули выключателем: у порога стоял лейтенант-связист с тощим солдатским вещмешком. С плащ-палатки на каменный пол весело капала вода.

— Крючок на дверях послабее твоего храпа, старший лейтенант.

Антонина сидела на застланном одеялом столе. На ночь она снимала сапоги да китель, привычно носила офицерские нижние рубахи и сразу сообразила, что лейтенант принял ее за парня.

— Лейтенант Валентин Вельяминов прибыл в ваше распоряжение. На вокзале яблоку упасть негде, на улице — дождь, так что разреши с тобой переночевать.

Сказав это, Валентин снял плащ-палатку, повесил ее у входа, положил на соседний стол вещмешок, поставил в ряд стулья.

— У тебя шинель найдется, старшой?

— В шкафу, — помедлив, недовольно сказала она и обиженно добавила вдруг: — Только я не храплю.

— Я иносказательно. — Лейтенант достал шинель, хотел постелить на стулья, но как-то странно взвесил на руке, ошалело глянул на Антонину и спросил неуверенно: — Ты... то есть вы...

— Свет погаси! — резко перебила Иваньшина и упала лицом в подушку, чтобы заглушить хохот.

Так они познакомились. Лейтенанту Вельяминову было абсолютно все равно, где служить, поскольку и у него никого из родни не осталось, но выбрал он именно этот город, потому что отсюда родом был его фронтовой друг, обидно погибший на закате войны.

— Проживал по Вокзальной улице, двадцать семь.

— Иваньшина покажет, — сказал военком. — А жить будешь в офицерском резерве, нечего нам крючки ломать.

По дороге на Вокзальную улицу возникло затрудненное молчание. Им еще непросто было вдвоем, и Валентин начал длинно рассказывать о матери — преподавателе литературы и об отце — директоре подмосковной школы, ушедшем в ополчение вместе со своими десятиклассниками.

— А ты не пошел, — уточнила Иваньшина.

— Не взяли. Я двадцать шестого года, и меня отправили в эвакуацию, а мама осталась. Она почему-то была уверена, что отец вернется.

— В сорок первом не возвращались.

— Да, вы правильно говорите.

— Вы? — Антонина усмехнулась. — А ночью братишку изображал. И имя у тебя какое-то...

— Какое?

— Девичье, вот какое. Валя, Валечка. У нас в полку была одна такая Валечка. Начштаба с собой таскал, пока я члену Военного совета не доложила.

Никакой Валечки в полку не существовало, начштаба никого с собой не таскал, и ничего командир роты Антонина Иваньшина члену Военного совета не докладывала, поскольку и видела-то его всего два раза издалека. Но ей вдруг захотелось позлить вежливо-спокойного лейтенанта, надерзить ему, обидеть, заставить рассердиться.

— Да, да, чего глаза вылупил? Доложила в письменной форме, как положено, рапортом. И Валечку эту — фьюить! — коленом под зад!

— Как? Как же вы могли? — Вельяминов даже остановился. — А если они любили? Если это была любовь? Вообще лезть в чужую жизнь...

— А пусть нас не пачкает! — Антонина очень боялась рассмеяться и поэтому орала чушь, но орала зло и неожиданно. — Мы не за тем на фронт шли, а из-за таких, как эта, твоя...

— Моя? — тихо удивился он. — Ну почему же моя? Где логика?

Они стояли посреди грязного пустыря, заваленного осколками кирпича, битым стеклом и ржавым железом. Антонина еще сверлила лейтенанта хитрыми глазами, но молчала, сообщив, что хватила через край.

— Терпеть не могу интеллигентов, — вдруг объявила она, решив кусать его с другой стороны.

— За что? — Он глядел на нее без всякого гнева, а Иваньшиной позарез необходимо было, чтобы лейтенант рассердился, вышел из себя, может быть, даже выругался. — За то, что они вас учат, лечат, развлекают?

— А не надо, не надо меня ни учить, ни лечить. Не надо, я сама как-нибудь. Уж как-нибудь.

— Что сама? Что сама? Что сама, что как-нибудь? Дура ты, оказывается.

И пошел, спотыкаясь, прямо в развалины. Антонина, кусая от смеха губы, обождала, пока он выдохнется на скользких кирпичах, крикнула:

— Эй, лейтенант! Валентин! Ты не в ту сторону пошел. Ты ко мне сперва вернись.

Он постоял, всей спиной демонстрируя огромное разочарование. Потом вернулся, сказал с горечью:

— И откуда ты такая взялась, интересно? Реликт эпохи военного коммунизма.

— Тебе Вокзальную? Ну так мы на ней стоим. Красивый пейзаж? А ты говоришь — учить, лечить да развлекать.

Так они встретились, и так они подружились. Вместе работали, но оба считали, что видят друг друга только по вечерам, когда кончалась служба, когда оставались одни и можно было вести неторопливые беседы, которые неизменно заканчивались спорами и ссорами. Стояла глухая припозднившаяся осень, в подвале было сыро, и Антонина как-то незаметно для самой себя раздобыла керосинку, чайник и даже одну кастрюльку. Она мерзла, но считала, что согреть надо его; голодала, но варила картофельную баланду тоже только для него. Она обрастала бытом и заботами естественно и с удовольствием, но была убеждена, что главное — это их разговоры.

— Знаешь, чем страшна война, кроме жертв, разрушений, горя? Тем, что лишает человека культуры. И не просто лишает, а обесценивает, уничтожает ее.

— Почему это? Сколько на фронте концертов было, артисты приезжали, а ты говоришь.

— Концерт — знак культуры, а я говорю об атмосфере, в которой живет современный человек и без которой он превращается в животное. Культура поведения, культура знаний, быта, общения, то есть культура каждого дня — вот чего лишает нас война.

— Да что мы, на войне некультурно вели себя, что ли? Ты, Валентин, говори, да не заговаривайся.

— Я же не о том, Тоня.

— Ладно, помолчи уж. Ешь вон картошку, пока горячая.

Ворчливо кормила лейтенанта Вельяминова, подкладывая получше да повкуснее. Ей нравилось его кормить, поить чаем, даже ворчать на него нравилось.

— Если все учеными станут, что будет-то?

— Не знаю, но уверен, что замечательно. Представляешь, все вокруг грамотные, вежливые, воспитанные. Вот почему нам учиться необходимо, Тоня. И самим учиться, и других учить. И ты времени не теряй и иди в институт, пока не все еще перезабыла. Я в тебя верю.

Военком приглядывался молча, но внимательно. А приметив, что вместо бриджей появилась юбка, сказал с глазу на глаз:

— Комната тебе нужна, Иваньшина.

— Зачем...

Начала она с привычной агрессивностью, но примолкла и неожиданно покраснела. А майор вздохнул, потрепал ее по коротко стриженной голове и прекратил этот разговор. И ей было радостно, что многое он угадал, и стыдно, что не хватило у нее офицерской выдержки не покраснеть при этом.

Через месяц старого военкома демобилизовали, но он успел сделать все. К тому времени в городе что-то сумели подштопать, подремонтировать, восстановить, и бывший командир роты старший лейтенант Иваньшина с учетом ранений, контузий, наград, заслуг, а также для устройства личной женской судьбы вскоре получила комнату. И с орденом в руках ворвалась в общежитие офицерского резерва. Лейтенант Валентин Вельяминов собирал немногочисленные пожитки и улыбался. Он и слова не дал сказать: обнял, расцеловал, закружил. Сердце в ней оборвалось: ведь впервые обнял, впервые расцеловал, впервые закружил...

— Милый ты мой старший лейтенант Тонечка, я невесту свою отыскал. Она только что из эвакуации вернулась и ждет меня. Ждет, Тонечка!..

И еще раз все в ней оборвалось. На этот раз с болью, от которой орать хотелось. Но удержалась, ордер спрятала, руку пожала, даже улыбку кое-как изобразила:

— Вот и хорошо. Поезжай. Обязательно. Я ведь тоже. Попрощаться зашла. Уезжаю. К мужу. Да. Муж у меня.

И вышла. Неделю из собственной, военкомом для ее счастья выхлопотанной комнаты не выходила. Въезжали соседи, праздновали новоселье, к ней стучали, а она молча лежала на шинели, брошенной в углу. Семь дней лежала, ничего не ела, только пила, слушая, как ноет сердце и тупо болит позвоночник, в который угодил когда-то ком твердой, как камень, смерзшейся глины. Вышла, когда зарубцевалось и это ранение, когда выработала, продумала, внушила себе железное правило: любви для нее нет и никогда не будет. Все, точка на этом вопросе. А вскоре и ей пришел приказ об увольнении в бессрочный отпуск из рядов Советской Армии.

— Что думаешь делать, Антонина Федоровна, чем заняться?

— Учиться хочу. На заочном или вечернем.

— Трудно.

— Не труднее, чем воевать. — Антонина говорила тускло, незаинтересованно, но упрямо. — Справимся.

— Не скажи, — вздохнул секретарь горкома, которому она пришла представляться после демобилизации. — В пединститут согласна? Тогда считай себя студенткой. А работать...

— В школу пойду, уже договорилась. Старшей пионервожатой, а заодно и военруком.

— Военруком, — усмехнулся секретарь. — Какой тебе военрук, Иваньшина? Кончилась война, так ее и разэтак.

— Нет, — сказала. — Знаете, когда она кончится? Когда последний из тех помрет, кто под бомбами землю грыз. Вот тогда она кончится, наша Великая Отечественная.

Учение давалось с большим трудом, и не поначалу, а вообще всю жизнь знания доставались ей с бою, ценой огромных усилий и огромной усидчивости, и Антонина всегда помнила о чрезвычайно высокой цене собственных знаний. И в этом заключалось великое ее счастье, потому что и в мирной жизни старший лейтенант Иваньшина продолжала, стиснув зубы, упорно карабкаться вверх, а не весело и легкомысленно скользить с уже захваченных высот. Это подкрепляло характер, а не ослабляло его, прибавляло уверенности если не в своих способностях, то в своих силах, которые куда важнее способностей, потому что никогда не подводят. Проверено, и точка.

— Тонь, пошли вечером на танцы?

— Нет, Юра, нельзя мне. Недопоняла я одного момента, подзубрить требуется.

— Это для курсовой, что ли? Так я тебе все в пять минут разъясню!

— Мне, Юра, не разъяснения нужны, а исключительно личное понимание.

Два раза в институте парни делали предложения, и дважды она сама от любви, семейной жизни и женского счастья отказывалась. Тут же переводила разговор, твердила,

что чего-то недопонимает, что где-то что-то надо доделать, додумать, выучить, а на самом-то деле совсем о другом думала. О лейтенанте Вельяминове и его ликующем, вновь обретенном счастье. И еще о болотце в апреле и о сухом ударе в позвоночник. Об этом она никогда теперь не забывала и добровольно ставила крест на собственной судьбе.

Однако природе не закажешь, да Антонина и заказывать ничего не собиралась. Тело помнило мужскую ласку, и коли требовало ее, то с полным правом. Благо была у нее своя комната в двухкомнатной квартире — небывалое счастье по тем временам! И еще она всегда помнила об избранной профессии и встречалась только с теми, кто никак не мог похвастаться в учительской. Этот принцип Тоня соблюдала жестко и неукоснительно, и поэтому и в институте и в школе ее считали недотрогой, сухарем и чуть ли не старой девой. Впрочем, сухарем ее считали даже те, кому она отдавала всю жажду усталого тела, потому что Антонина, соблюдая отданный себе же приказ «любви нет», более всего боялась еще раз влюбиться и нарочно командовала:

— Говорить шепотом, соседи за стеной. За громкий смех выгоняю без промедления, ясно?

Подобного руководства не выносят никакие мужики, ну а те, которые сами командовали, те, которые чудом дожили до Победы, померев до нее и за нее бесчисленное число раз, те выдерживали от силы две-три ночки, благо женщин, готовых восторженно подчиняться, было сотни на одного уцелевшего. Нельзя сказать, чтобы Тоню радовали эти внезапные исчезновения, но, утаив горечь на дне души, она и в этих обстоятельствах выискивала рациональное зерно.

— Ушел, ну и черт с ним. Этак еще и вправду влюблюсь.

Но это все — между делом. Делом была очередная высота, которую сама же решила взять: институт. А учение давалось немислимым напряжением, но Антонина лезла на свою высоту, стиснув зубы, недосыпая и недоедая. И непременно пересдавая все тройки: это запрещалось правилами, но, нахватав в первой сессии этих самых троек, Иваньшина решительно пошла к ректору.

— Отчисляйте к чертовой матери. Неспособна.

— С чего взяли? У вас все сдано.

— На тройки? Так они мне эти тройки из жалости ставят, ясно? А мне жалость не нужна. Так что либо отчисляйте, либо дайте право все тройки *обратно* пересдавать.

— Это нарушение.

— А когда бабы ротами командовали — это как, не нарушение? Ну и нечего мне законами в нос тыкать.

Разрешили. Самолюбивая до болезненности, Антонина старалась по возможности не пользоваться этой особой льготой, но иногда приходилось: историю древнего мира, к примеру, три раза пересдавала, пока четверку не заработала. Она уж ее, историю эту, почти наизусть выучила, а вот с датами никак не справлялась: не могла сообразить, каким образом дата рождения всяких там Периклов, Ганнибалов, Спартаков да Александров Македонских в абсолютном цифровом выражении больше, чем дата смерти.

— Ну это же все — до нашей эры, понимаешь? Потому и считают наоборот.

— Какой же может быть оборот во времени?

— Условность такая, Антонина. От новой эры — плюс, до новой — минус. Ну, от рождения Христа.

— Ты мне башку не морочь, он же легендарный.

За разъяснениями она обращалась только к мужчинам, хотя в педвузе их было очень мало. Не потому, что презирала девчонок — она не презирала, а жалела их, — а потому, что чувствовала себя неизмеримо старше. Старше даже тех, кто годами обогнал ее, будто время, которым измеряла она собственную жизнь, тоже считалось «наоборот», как до нашей эры.

Девочки ее побаивались. В подругах никто не числился, но наиболее бессовестные беззастенчиво пользовались ее добротой и ставшим уже смешным, но упорным нежелание

считать — деньги ли, продукты или лимитные книжки, которые ей выдавал военкомат вплоть до денежной реформы, когда отменили карточки, пайки, лимитные книжки, а деньги меняли один к десяти. Она делилась последним, а то и просто отдавала это последнее по первой же просьбе или без просьбы, вдруг.

— Мне чулки шелковые выдали, а у тебя ноги красивые. Держи.

— Что ты, что ты! А сама как же?

— А мне к чему? Все равно в сапогах.

«Контуженная!» — хихикали пройдошистые, не понимая, что старший лейтенант Иваньшина беззаветно щедра не вследствие контузии, а потому, что фронт научил ее ценить только абсолютные ценности на всю оставшуюся жизнь.

— Пальтишко купи, простудишься. Держи сотню, больше нет.

— Ой, Тонь, я же отдать не смогу.

— А ты не отдавай. Ты пальтишко купи.

Очень уважали ее в институте. Любили, правда, куда меньше за резкость и колючесть, но уважали, а старый историк на празднике 7 Ноября сказал, расчувствовавшись:

— Неопалимая вы наша купина, товарищ Иваньшина. Настоящая советская неопалимая купина!

Тоня сначала хотела рассердиться на религиозное сравнение и посадить профессора на место, но ей успели вовремя растолковать, что неопалимая купина — это просто-напросто такой куст, который в огне не горит. И Тоня кивнула коротко и решительно: «Точно, мол, мы в огне не горим и в воде не тонем». И осаживать профессора воздержалась.

А прозвище «Неопалимая купина» на некоторое время в пединституте за нею закрепилось. Не столько потому, что первым назвал ее так старый сентиментальный профессор, а потому, что в «Комсомольской правде» вскоре появилась большая статья под таким названием. О ней статья, об Антонине Иваньшиной, командире стрелковой роты заштатного стрелкового полка еще более заштатной стрелковой дивизии. Статью привязали к Международному женскому дню 8 Марта. Тоне это не понравилось, под горячую руку она собиралась написать резкое письмо в редакцию насчет граф, параграфов и рубрик, соотнесенных со всякого рода датами, но не успела, поскольку сама получила послание.

«Дорогой мой старший лейтенант Тонечка!

Мы с женой прочитали в газете статью о тебе: ты и вправду Неопалимая Купина Великой Отечественной войны. Как живешь, где трудишься, вспоминаешь ли о лейтенанте Валентине Вельяминове...»

Два дня Антонина на занятия не ходила: перечитывала каждую строчку, всплакнула даже. Ответ собиралась писать, да тут вдруг вызвали повесткой в горвоенкомат. Явилась, как приказано.

— Возможно, путаница? У меня инвалидность.

— Товарищи офицеры!

Замерли присутствовавшие в кабинете офицеры. А сам военком — боевой полковник (новый, Тоня его не знала) строевым подошел. Громко, как на параде:

— По поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик...

Словом, награда нашла героя: за последний бой — тот, в котором сухим комом в позвоночник, — старшего лейтенанта Иваньшину Антонину Федоровну наградили орденом Красной Звезды. А вручить не успели: в госпиталь комроты угодила. А там и война кончилась.

— Разрешите по-фронтовому орден отметить, товарищ полковник?

— А как же! Непременно по-фронтовому.

После работы собрались. Нашли котелок — натуральный, солдатский. Бросила в него Антонина новенькую «Звездочку», вылила поллитра. И полковнику протянула первому. Как положено было на фронте.

— За тебя, — сказал военком, двумя руками держа котелок. — Дай бог, как говорится, не последний тебе орден в жизни.

Сделав добрый глоток, передал по кругу. И каждый из офицеров говорил ей хорошие слова и торжественно, будто причащаясь, принимал к котелку, на дне которого серебряно позвякивал боевой орден.

Полковник понравился Антонине. И говорил толково, и не выпендривался, и мужиком был боевым и видным, и даже на нее клюнул с ходу. Клюнул, что называется, с первого глотка; Тоне было очень приятно и немного грустно, потому что воспользоваться мгновением она уже не могла. Некуда стало заполучать их, боевых соратников.

Случилось так, что, возвращаясь с институтского новогоднего бала в пять утра, Тоня неподалеку от общежития встретила тихо, устало и безнадежно плачущую девчонку-первокурсницу. Девчонка сидела на чемодане, шмыгала носом, продрогла в легком пальтишке и, видно, отчаялась вконец. Естественно, Иваньшина никак не могла пройти мимо, хотя шла не одна, а с аспирантом, который давно за нею ухлестывал. Ничего был мужик, воевавший, комбат образца сорок четвертого. Тоня года два держала его на расстоянии, поскольку свято блюла принцип «только не со своими», а на балу расчувствовалась и — решилась. А тут девчонка.

— Чего сидишь, чего реवेशь? Да не бойся, Иваньшина я, Тоня, меня все в институте знают.

— Хо-хозяйка вы-выгнала. Я ей за п-полгода вп-перед заплатила, а она взяла да в-выгнала.

— Вот сука! Где живет? Сейчас я ей пару ласковых...

— А мне куда же? — продолжала свое девчонка. — Я приезжая, папа на фронте погиб, а мама...

— Кончай рев. Ну, кому сказала? Как тебя? Зина? — Обернулась к аспиранту: — А ты чего ждешь, кавалер? Хватай мешки, вокзал тронулся. Ко мне все волоки: закусим, согреемся, а там разберемся. Так-то, Зинка-корзинка. Держись за меня, скользко.

Выпили они тогда чайник под кастрюлю картошечки, согрелись; аспирант ушел несолоно хлебавши, а Зиночка-корзиночка осталась.

Странно, Антонина об этом не жалела ни тогда, ни потом. Будто перепрыгнула на ходу из одного грузовика в другой, идущий совсем в иное «хозяйство».

А все потому, что Зиночка-корзиночка оказалась абсолютно неприспособленной к жизни. Могла проспять начало занятий, вовремя не позавтракать или не поужинать, могла легко одеться в мороз, забыть о простых чулках или шерстяных рейтузах и вообще простудиться могла. И за всем теперь приходилось следить Антонине; она ворчала, сердилась, командовала, кормила завтраками и ужинами, огорчалась и радовалась, плакала и смеялась, с каждым днем все больше привязываясь к своей несмысленной квартирке. И эта постоянная, уже не ежедневная, а ежечасная возня с неумехой-первокурсницей постепенно настолько заполнила ее жизнь, что ни на что другое у Иваньшиной уже не оказалось ни времени, ни сил, ни желаний.

— Почему поздно домой заявила? Парня завела? Покажешь.

Господи, да какие же они смешные, какие доверчивые и глупенькие эти несчастные девчонки, которым так хочется хоть чуточку, хоть капелечку любви и счастья! Ну как можно отправлять их без присмотра на учение в город, где столько соблазнов, столько парней и мужиков, которые все готовы сделать, абы сорвать первоцвет да ноги унести. Нет, пропадет без нее Зиночка, это же ясно. Ни за понюх пропадет!

— Позже одиннадцати домой приходите запрещаю. Категорически, Зинаида, ясен приказ?

Вот так за домашними хлопотами и подошли госэкзамены, а там и выпускной вечер, и бывший командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Федоровна Иваньшина стала дипломированным преподавателем истории в средней школе № 22, что по улице Фрунзе. Историчкой, выражаясь школьным языком. Тоня проходила в той школе практику и стажировку, а теперь добросовестно готовилась к своим урокам и сумела навести порядок в классе, но дети ее не любили. Нет, они никак не выражали своей нелюбви, были ровны и в меру послушны, но Тоня... виноват, теперь уж Антонина Федоровна постоянно ощущала нелюбовь... Но не расстраивалась: у нее было кого любить и о ком заботиться, а дети... Что

же, главное — дисциплина. Дисциплина, послушание, успеваемость. Она обладала достаточным запасом воли, властности и командного опыта, Чтобы требовать и добиваться, и она требовала и добивалась, а дети ее не любили.

— Антонина Федоровна, извините меня, бога ради, но обязана сказать. Обязана. Не любят вас дети. Да. Огорчительно очень, но не любят во всех классах, вы уж простите меня, пожалуйста.

— А на черта мне их любовь, Мария Ивановна? Не жениться пришла, а преподавать историю.

— И ещё — воспитывать. А вы так... гм, странно выражаете свои мысли. А ведь мы детей воспитываем, голубушка Антонина Федоровна. А воспитание без любви...

— Я мужиков воспитывала. Сто двадцать душ за три месяца формирования. В полном порядке были и без всякой любви, не беспокойтесь.

— Так то мужики...— застенчиво вздохнула старая учительница.

Завуч Мария Ивановна была представительницей воспитательного направления, предусматривающего непременно взаимную любовь между учителем и учениками и основанное на этой любви беспредельное доверие. Но послевоенные дети, в лучшем случае имеющие отца-инвалида, а чаще давно уже потерявшие отцов, были в большинстве плаксивыми, взнервленными, неуравновешенными — обожженными войной, короче говоря. Естественно, никто не мог предполагать, к каким последствиям может привести массовая безотцовщина эта, но Иванышина, обладая командным опытом, почувствовала неладное и старалась держаться посуравее. Нелегко давалось ей это, а особенно дружная нелюбовь детей, немало слез пролила она, но истинная трагедия подкрадывалась совсем с другой стороны.

— Тонечка, я выхожу замуж!

— Как так — замуж? Тебе еще год учиться.

— Тоня, он чудный, чудный! Помнишь, я приводила его? Он в электротехникуме учится, уже оканчивает, и мы решили...

Села историчка Антонина Федоровна на стул возле дверей, выронив переполненные авоськи.

— Как же так? Я не понимаю. Как же так, а? Тебе еще целый год учиться...

— Так ведь люблю я его. Люблю, Тонечка! Обняла, расцеловала, прижалась — родная, глупенькая, доверчивая. И заплакали обе: одна — от счастья, другая...

— Может, обождешь? Может, доучишься сперва?

— Ах, Тонечка, да ведь в Саратов его распределили. А у него там тетка с квартирой, и она нас к себе зовет, и там я институт окончу.

— Ах ты, Зинка моя, Зиночка, Зиночка-корзиночка...

— Тонечка, это же чудесно, это же замечательно, и я такая вся счастливая-счастливая!..

Никогда ничего не теряла Антонина Иванышина с таким тоскливым безнадежным отчаянием — даже лейтенанта Вельяминова. А горечь фронтовых потерь вообще была принципиально иной, ибо там, за горем, стоял его виновник, нелепость случайности, рок («ведь почему-то именно его, а не...») и, наконец, жажда мщения и полная возможность утолить эту жажду. Кроме того, боевые потери переживались сообща, горе роднило, а не разъединяло, плечо товарища ощущалось не метафорой, а вполне реальной опорой. Фронтовое братство являлось самым действенным лекарством против любой, самой ужасной, самой нелепой трагедии.

Мирные утраты били прежде всего в ее одиночество. Их не с кем было разделить, и оказались они сугубо личными. Личными потерями бывшего старшего лейтенанта Тони Иванышиной: она впервые испытала их затяжную боль.

— Ах ты, Зинка-корзинка!..

С тоски Антонина на три дня бюллетень взяла и долго еще курила по ночам. Конечно, она никогда, ни разу ни в чем не упрекнула свою Зиночку: молодое счастье всегда эгоистично, и в этом эгоизме его радостная и всепокрушающая сила. Зинаида должна была поступить так, как поступила, — у Тони не было никаких сомнений на этот счет, — но это



никоим образом не облегчало ее состояния. И бывший командир стрелковой роты снова глухо рыдала в подушку, яростно презирая себя за такую слабость.

А потом пришла в пединститут, который окончила три года назад. Поговорила с педагогами, познакомилась с девчонками-первокурсницами, поболтала с ними, посмеялась. Неделю выясняла и приглядывалась, а там пригласила к себе на все время обучения самую тихую и незаметную, у которой — как, впрочем, и у многих в те времена — отец погиб в самом конце войны.

Так возникла система, в которой Антонина находила и радость, и смысл собственного существования. Она с материнским самопожертвованием кормила, поила, одевала и согревала своих квартиранток, как их называли соседи, а на самом-то деле никаких не квартиранток, а временных дочерей, что ли, или, по крайности, младших сестренек. Материнский инстинкт требовал выхода, действий, забот и хлопот, и она была безмерно счастлива, что может кого-то кормить, на кого-то ворчать, кому-то стирать и штопать, с кем-то говорить и смеяться, а иногда — правда, нечасто — даже ходить в театр. И никогда не возникало у нее ни конфликтов, ни ссор со своими воспитанницами: то ли везло, то ли нюх у нее был на хороших людей.

Правда, этот нюх однажды подвел ее. Подвел жестоко, неожиданно и столь несправедливо, что Антонина пережила собственную ошибку как самое тяжелое из своих ранений.

Но сначала о соседях, иначе непонятными окажутся не только горькая осечка с избранной воспитанницей, но и вся дальнейшая история жизни и смерти Антонины Иваньшиной.

Стало быть, старший лейтенант Иваньшина с учетом фронтовых заслуг, ранений, женского своего естества и полной бездомности получила жилплощадь с помощью старого военкома еще в те времена, когда только-только начинали что-то чинить, а о том, чтобы строить, еще и мечтать не смели. Ей выделили комнату в двухкомнатной квартире почти в центре города, но в деревянном, чудом уцелевшем в пожарах войны двухэтажном доме. Одновременно в соседнюю комнату тогда вселилась большая и чисто женская семья: матери, дочери, бабки и внуки и — ни одного мужика. Ни мужа, ни отца, ни брата, ни сына — кого убили, кто сам помер, а кто и сбежал от всей этой чересчур уж громкой, плаксивой, истеричной бабской оравы. Мужиков не оказалось, а тоска по ним осталась, чем и объяснялось особое, пронзительное любопытство соседей. За Тоней и за ее гостями-мужчинами следили, затаив дыхание, из всех щелей, и лейтенант Иваньшина ненавидела своих соседей настолько холодно и презрительно, что даже не знала их точного числа. Так сложилось с первых дней, так и продолжалось потом, когда место нечастых мужчин заняли девочки-студентки. И здесь соседки поначалу никак не желали оставлять ее в покое, непрерывно жалуясь в милицию, что Иваньшина сдает непрописанным гражданкам углы и живет на нетрудовые доходы. Участковый несколько раз проверял эти жалобы, но девочки указывались студентками и клятвенно заверяли, что хозяйка не берет с них ни копейки. В такие клятвы умудренный жизнью участковый давно не верил, но Иваньшина была фронтовичкой, и беспокоить ее расспросами он не стал. Он вместо этого провел суровую воспитательную беседу с кляузными соседками, доведя их до слез и чистосердечного признания.

— А почему это она одна в четырнадцати метрах, а мы пятеро в семнадцати?

— А потому, что она клеветой в адрес заслуженных советских граждан не занимается, — резонно объяснил милиционер и навсегда снял этот вопрос с повестки дня.

Вся эта сквалыжная возня привела к тому, что Тоня решительно вычеркнула соседей из своей личной жизни, проходя сквозь мам, дочек, теток и бабушек как сквозь объекты бестелесные и как бы вообще не существующие. И так шло: она жила своей жизнью, они — своей. Умирали, уезжали, ссорились, болели, выздоравливали, а потом вдруг съехали. И только когда переезжали, Антонина и обратила на них внимание: уж очень громко вещи перетаскивали.

Соседи исчезли, наступила тишина: комната долго стояла пустой. Потом появился управдом и с ним молодой, простой и приятный парень с обезоруживающей улыбкой.

— Беляков Олег. Ордер вот получил. Соседом вашим буду.

Но до того, как стать соседом, требовалось сделать ремонт. Олег разыскал мастеров, каждый вечер приходил убирать за ними и убирал, надо сказать, очень старательно. Раза два или три он появлялся с женой — по виду так совершеннейшей девчонкой, которая придиричивой Антонине понравилась. Это уже было после института, уже лет двадцать, что ли, прошло, и у Иванышиной сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом... Но Антонина не обижалась: понимала, что замотались ее девчонки между семьей и школой, между детьми и мужем, между домом и работой. Она все понимала, хотя веселее ей от этого не становилось.

В то время у нее жила Лада, Ладочка, Ладушка — ласковое и обаятельное создание, состоящее из сплошных кругов: круглое личико, круглые глазки, круглые ушки, круглый ротик и даже кудряшки над круглым лобиком были круглыми. Это умиляло само по себе, но на третий день их совместного житья Антонина умилилась беспредельно.

— Можно, я буду называть вас мамой?

Ладочка была из маленького районного городка, а мечтала работать здесь, в областном. Она часто говорила о своей будущей работе, о взаимоотношениях с учениками («Мы, конечно же, будем друзьями, но я сразу покажу характер. Верно, мамочка?...»); о будущих сочинениях («Я не хочу казенщины: образ Татьяны... и так далее. Я хочу, например, такую тему: женщины в творчестве и жизни Александра Блока. Правильно, мамочка?..»); и даже о будущих сослуживцах («Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?..»). Ах, как была счастлива «мамочка!» Ее никто никогда так не называл и — она знала — никогда так не назовет. Нет, нет, все предыдущие ее девочки были прекрасными, они давали столь необходимую ей возможность заботиться о себе, но ни к кому она не относилась так, как к упругой, кругленькой, вкусненькой, как пампушка, Ладушке. Лада умудрилась растревожить не только ее материнский инстинкт, но и материнское чувство: Антонина Федоровна Иванышина впервые в жизни познала материнскую любовь.

— Ладушка, хочешь работать в моей школе? — К тому времени Иванышина стала директрисой, и выражение «моя школа» звучало вполне уместно. — У нас хороший коллектив, опытные педагоги.

— Мамочка, я не смею сказать «хочу». Я могу только мечтать о таком счастье.

— Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в гороно.

— Я ни о чем не прошу...

— Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя. Надеюсь, мне не откажут, если я лично попрошу для тебя постоянную прописку.

— Мамочка, зачем эти хлопоты? Я поеду, куда направят. В конце концов я комсомолка, и это мой долг.

— И ты оставишь меня?

— Мамочка! — Ладочка повисла на шее, расцеловала. — Ты моя родная. Самая родная, прости, но это вырвалось совершенно инстинктивно.

— Говори мне так всегда. Мне приятно.

— Мамочка моя!..

Таяло, млело, умилялось сердце командира стрелковой роты. А после этого разговора по душам Лада стала еще внимательнее и нежнее.

В прописке не отказали. Хотя дали разрешение не сразу и без особой радости.

— В порядке исключения, Антонина Федоровна. Учитывая вашу личную просьбу.

Через пять дней сияющая Лада примчалась из милиции, потрясая паспортом:

— Мамочка, родная моя! Теперь мы навеки вместе, потому что у меня постоянная прописка. Ура, мамочка!..

На радостях купили шампанского и огромный торт. Пили, плакали и мечтали.

— Мамочка, у нас начинается практика. Можно, я буду ходить в твою школу?

— Конечно, доченька. Привыкай, тебе в ней работать.

— Ура! Я буду преподавать литературу в самой лучшей школе города!

Все эти пиры и радости происходили еще при старых соседях. Потом появился Олег Беляков, затеявший неторопливый и основательный ремонт и каждый вечер регулярно приходивший убирать мусор.

А однажды — только маляры закончили работу — в комнату вошла Лада с незнакомым мужчиной лет за тридцать. Названная дочь несла объемистый тюк, а незнакомец — два больших чемодана. Иваньшина сидела у окна — в последнее время она что-то хуже стала видеть — и на руках подшивала своей любимице платье.

— Это мой муж.

— Муж? — улыбнулась Антонина, ожидая неожиданной шутки или какого-нибудь веселого розыгрыша, на которые ее Ладочка была мастерица.

— Паспорт показать, Антонина Федоровна? — Мужчина широко, по-свойски улыбался и вести себя старался тоже по-свойски, но Иваньшина видела, что он изо всех сил пытается преодолеть самого себя. — Комнатка светлая, сухая. Ремонт, конечно, неплохо бы повернуть, потолок побелить.

— Какой муж, какой ремонт? — Она все еще улыбалась, но уже чужла что-то очень недоброе. — Почему вдруг — потолок белить?

— А потому, что я, согласно закону, как супруг, прописываюсь на жилплощадь жены. — Неизвестный уже справился с первым смущением, преодолел себя: и тон и вид его стали агрессивными, точно он стеснялся теперь за те первые нерешительные нотки. — Скажете, что не согласны, так вот вам заявление, чтоб, значит, жировочки пополам: мы свои права знаем. А будете спорить — общественность оповестим, что вы мешаете счастью молодой семьи, законно прописанной на этой вот жилплощади с вашего же согласия. Устраивает? Тогда давайте сосуществовать.

Где-то в середине этой деловитой и, видимо, заранее сочиненной речи Антонина почувствовала, будто сухой, твердый, как камень, глинистый ком снова ударил в позвоночник. Точно в то же место, только боль была иная. Пронзительно острая, нестерпимо острая, лишившая ее не сознания, а способности двигаться. Двигаться и говорить, и Иваньшина только тихо сипела, наливаясь краской и широко разевая рот.

— Думаю, договоримся, — продолжал незванный гость, оказавшийся вдруг новым хозяином. — Вы с орденами: походите в горком, поплачетесь на тесноту да на нас в придачу, и вам, безусловно, где-то комнату выделят. И все тип-топ, как говорится: вы еще к нам в гости ходить будете, Ладкиного пискуна, который через полгода на свет явится, нянчить станете. Да еще и нам спасибо скажете, что старость у вас не одинокая...

Он много еще говорил, но говорил один. Лада молчала и изо всех сил старалась не глядеть в ее сторону, а Иваньшина, напряженно ловя ее взгляд, пыталась хоть слово из себя выдать, пыталась и не могла. А новоявленный муж все говорил и говорил не переставая: ему тоже было неуютно.

— Вы же Ладку любите, а для нее эта комната — единственный способ счастья добиться. Мы с ней тут еще пару ребят заделаем...

В верхнем ящике старомодного комода, доставшегося ей еще по наряду военкомата при вселении, лежал «вальтер». Отличный офицерский «вальтер», с полной обоймой в рукоятке и запасной рядышком, который она сама сняла с убитого ею обер-лейтенанта во вражеской траншее. Очень уж ладный пистолет был, очень уж гордилась она им и когда-то хотела подарить его лейтенанту Вельяминову. Но лейтенант нашел невесту, исчез навсегда, а ей осталась эта комната, одиночество да памятный «вальтер». Вроде бы уж и не просто личное оружие, которое положено сдавать, а некий символ, связавший воедино ее первый бой в немецких траншеях с ее последней, отчаянной, безоглядной и несостоявшейся любовью. И поэтому когда пришел приказ о демобилизации, она так и не смогла расстаться с трофейным пистолетом. Сунула его с глаз подальше, утопила в ворохе старых бумаг и забыла. А тут вспомнила. Отчетливо, до тяжести в руке.

Только бы встать, только бы сделать три шага до комода, только бы найти в себе силы вытащить ящик. И тогда — всю обойму в наглую, самодовольную, уверенную в своем превосходстве физиономию. Только бы встать, только бы... Она уже не слушала, что говорят, она думала, как сэкономить силы, она приказывала себе встать. Встать. Встать!..

— А переборочку я все же в комнате сооружу. Ладка вас стесняется, а мы молодые, так что природа своего еще требует. Какое нам дано указание? А такое, что нечего нам ждать милостей: взять их — наша задача. Так, мамаша?

Господи, только бы встать. Сначала встать, потом — три шага. До смерти — четыре? А здесь всего-то три, полегче. Правда, ящик комода трудно выдвигается. Туго, со скрипом...

— Напополам делить нечестно: нас двое, а вы одна. Значит, так разделим: нам — две трети, вам одну. Какую половину выбираешь, Ладка? Тебе как беременной женщине первое слово.

Лада молча ткнула рукой туда, где стояла кровать, на которой последнее время они спали вместе — названная дочь и названная мать. Войдя и перехваченным голосом представив мужа, она больше не проронила ни слова, бестолково копясь в вещах, сваленных посреди комнаты.

— Ясно. Ну-ка, давай-ка кроватку мамашину к другой стеночке...

Именно тут открылась дверь и вошел новый сосед Олег Беляков. Почему вошел без приглашения, без стука даже — этого он и потом никогда не мог объяснить («Кольнуло будто: надо, мол, и все...»). В этот момент деятельный молодежен схватился за железную, с колесиками, никелированными шарами и панцирной сеткой кровать и потащил, не дожидаясь помощи онемевшей жены.

— Что тут происходит, Антонина Федоровна?

То ли потому, что кто-то вошел, то ли просто сил уже накопилось, а только Иваньшина с огромным трудом подняла руку, ткнула в тащившего кровать мужчину и, напрягшись, косноязычно и непонятно выдохнула:

— Фашист.

Дальнейшие действия Белякова тоже оказались труднообъяснимыми. Ничего ни у кого не спросив и ничего не сказав, он схватил один из чемоданов и, размахнувшись, вышвырнул его в открытую дверь. Вылетев в коридор, тяжелый чемодан ударился об угол печи, крышка отскочила, и на грязный, истоптанный малярами пол вывалились рубашки, подтяжки, майки, трусы. А Олег тут же сграбастал второй чемодан, открытый, в котором трудолюбиво и застенчиво копалась Лада, и отправил его следом, но чемодан не долетел до коридора, устлав всю комнату постельным бельем.

— Постой, ты что? Ах, гад!..

Бросив кровать посреди комнаты, муж схватил соседа за грудки. Но Олег не испугался, хотя был заметно мельче своего противника. Кто-то ударил первым, кто-то ответил на удар, пронзительно завизжала Лада, а Иваньшину пронзила вдруг острая до световой вспышки боль в позвоночнике, и свет померк.

Очнулась она после укола. Вернулось сознание, просветлело в глазах, и она увидела, что сидит на том же месте, но ни молодежен, ни их вещей уже нет. Рядом суетился молодой и очень озабоченный врач, поодаль сидел Олег, и медсестра прикладывала тампон к его избитому лицу. И еще Иваньшина увидела молоденькую жену нового соседа («Как ее... Алла, что ли?»): она сидела на корточках напротив, смотрела испуганно и держала Иваньшину за руку.

— Ну как вы? — спросил доктор. — Говорить можете?

— А где... где эти?

Иваньшина говорила затрудненно, неясно, но все же говорила. И глядела осмысленно, и спрашивала осмысленно.

— Наладил, — шепеляво, с присвистом сказал Олег и улыбнулся разбитыми губами. — Он думал меня на испуг взять. А мы с Алкой — детдомовские, нас за грош не купишь. Доктор, ты мне справочку об избииении все-таки изобрази.

— Изобразу, — отмахнулся врач; Иваньшина беспокоила его куда больше. — Двигаться можете?

— Руки теплые. — Она чуть сжала пальцы перепуганной Алле. — Ног не чувствую.

— Срочно в больницу. Срочно. — Доктор вздохнул и нахмурился. — Давайте санитаров, давайте носилки.

— А справку? — спросил Олег.

— Сейчас напишу, какой вы, право. Нашли время.

— Не для себя, доктор, — улыбнулся Беляков, осторожно тронув языком разбитые губы. — Нахалов учить надо. Вместе с Ладочками. — Тут он покосился на Антонину, добавил виновато: — Вы, конечно, извините за самоуправство. Если хотите, я Ладу не трону.

Иваньшина ничего не ответила.

Почти три месяца провела она тогда в больнице. За это время новые соседи не только закончили ремонт и переехали, но и подружились с нею, поскольку ежедневно навещали то вместе, то порознь. Поначалу — причем довольно долго — она не слушала, не слышала да и не видела их, погруженная в невеселые свои мысли, но и Олег и Алла не ограничивали свои визиты только передачами да дежурными расспросами, где болит, что болит, как лечат да что говорят. Новые соседи обладали природным даром общения и огромным запасом добродушия, которое поглощало и молчание, и угрюмое неприятие, и даже безадресные нервные срывы больной настолько полно, что незаметно для себя Иваньшина стала оттаивать.

— Вот вы и начали нас вроде как замечать, Антонина Федоровна.

— Не понимаю, зачем утруждаетесь, — угрюмо сказала она. — Ходите, навещаете. Поручение от месткома?

— Приказ, — сказал Олег. — Мы же с вами родственники по Великой Отечественной войне, только вы яблонька, а я яблочко.

Иваньшина чуть улыбнулась: пара внушала доверие, даже нравилась ей.

— Заулыбались — значит, на поправку дело пошло, и пора нам познакомиться, — сказал он. — Ну, Алка сама про себя вам наболтает, а я свою автобиографию на бумаге изобразил. Уйду — прочитаете, если захотите: Алка специально для вас ее на машинке отстукала в своей конторе.

Оставил несколько листков и ушел, и Антонина Федоровна сразу же начала читать.

«АНТОНИНЕ ФЕДОРОВНЕ, ДОРОГОЙ НАШЕЙ СОСЕДКЕ» — было напечатано большими буквами сверху. Далее шел обычный шрифт, но с первым экземпляром Иваньшина справлялась легко.

*«Не хочу быть неправильно понятым, но слушать меня вы сейчас не станете, не до того вам, и, кроме как через это письмо, нет у меня способов все вам объяснить. А объяснить надо, по какому праву я к вам ворвался прямо, можно сказать, в личную жизнь. Вот почему и пишу, а Алка (это жена моя) отпечатает у себя на работе, чтобы вам читать было полегче.*

*Так вот, я детдомовец и за все своему детскому дому благодарен. За воспитание, образование, здоровье, за судьбу свою, за Алку мою. Это все — огромные плюсы, но один маленький минус все же из детдомовской жизни вытекает. Из спальни на сорок пацанов: два десятка двухъярусных коек. Из столов на двенадцать жующих: по шесть с каждой стороны. Из общих игр, общих уроков, общих построений, из общих туалетов, если хотите, потому что ни от чего человек так не устает, как от ежечасной и многолетней жизни на чужих глазах. «Ты что читаешь?», «Ты кому пишешь?», «Ты что жуешь?», «Ты что задумался?». Задумался чего — и то ведь непременно спросят! Не со зла, не от любопытства: от того, что слишком уж много общего, и все невольно тоже становится общим. Даже мысли.*

*И тогда постепенно начинает шевелиться в тебе одна идея. Сперва — в слезах, потом — в мечтах, а там и как насущная жизненная необходимость: желание иметь свой угол. Свои четыре стены, чтобы отгородиться ими от всех хотя бы на время, на вечер, на ночь — да хоть на час один. И не желание даже — желания как-то мало для этого, — а жажда. Вот даже слова другого искать не буду: для любого детдомовца собственная комната — утоление жажды. Компенсация вроде бы чего-то такого, чего не было. Не знаю, как эта жажда у кого сказывается, а меня она буквально с ума сводила. Я во сне свою собственную комнату видел, я знал, где у нее дверь, сколько у нее окон, я мебелью ее в мечтах обставлял, обои подбирал, полочки приколачивал, выключатели ставил, проводку проводил. Еще в детдоме о своей норе стал мечтать, а когда в техникум поступил и перешел в общежитие, так обязательно перед сном об этой комнате думал. Заснуть иначе не мог, если в мечтах не зайду в нее, стол не передвину, кресло не переставлю. Прямо как наваждение какое-то. С жилплощадью у нас везде трудно, а для детдомовца еще труднее. Не потому, что к нам плохо относятся — к нам*

*как раз очень хорошо все относятся, может быть, даже слишком хорошо, — а потому, что у детдомовца только одна возможность в этом плане: в порядке очереди. Обыкновенные дети ведь у родителей прописаны, а детдомовские — в общежитиях, и никакого права на жилплощадь у них нет, пока ордер им не вручат. А это, как правило, ой как нескоро случается.*

*Какие же варианты? А два ровно: либо на жилплощади жениться, либо за жилплощадь замуж выйти, и третьего не дано. Но это не для меня все, потому что я в свою Алку еще с седьмого класса влюбился. В детдоме еще она тогда в четвертом училась, вся в бантах была, а на Новый год изображала Снежинку. И так она ее изображала, что я в нее влюбился навсегда, еле дождался, когда ей восемнадцать исполнится, и расписались мы без всякой жилплощади, и три года после этого по всему городу мыкались, комнаты снимая. Я еще молодым специалистом числился, Алка училась, и тратили мы тогда на комнату больше, чем на свое питание. Еле-еле концы с концами Алка сводила, но ребенка мы завести все-таки не побоялись. А через два года пьяная квартирная хозяйка, у которой мы комнату снимали, уронила с балкона нашего ребеночка, нашу девочку, когда мы на работе были.*

*Это все я вам, Антонина Федоровна, сообщаю, чтобы ясен был один побудительный мотив: я после этой трагедии начал приработок искать, чтобы денег накопить и, может, кооперативную квартиру или хоть домик за городом приобрести. Руки у меня всегда хорошие были, соображал я неплохо, если технически, в смысле там электроники или электротехники. Тут вскоре мода на звуковые системы пошла, и я сразу прослыл спецом экстра-класса. Дело для меня плевое, а заработок верный: и жить стали полегче, и откладывать даже начали. Тем более что заказы на меня прямо сыпались, и я уже выбирал, к кому идти.*

*И вот так зашел однажды к одному парню, Игорем его звали. Толковая у него была «система», только разрегулирована без предела. Стал я с того света ее вытаскивать, аппаратуру эту, каждый день после работы наведывался и вскоре познакомился с папой. А папа — начальник: какой да чего, дело ведь не в этом, а в том, что он попросил меня у него на службе секретарь-автомат швейцарский до ума довести. Я довожу, разговариваем, я ему, как вам, все обрисовываю: про Алку, про ребенка, про нашу бездомность и нашу мечту. А через месяц — бац! — ордерок на подселение в квартиру к инвалиду Великой Отечественной войны Антонине Федоровне Ивановшине. К вам, значит, дорогая наша и первая в жизни соседка.*

*Спросите, зачем, мол, пишу все это? А затем, чтобы объяснить, какие мы есть, почему я в вашу комнату тогда без стука ворвался и что вы для нас значите. Мы детдомовские ребята, о чем и рапортуем, а вы вроде как пристань наша, как остров в океане. Может, это все Алка лучше объяснит, я насчет чувств не очень, но хотелось бы, чтобы жилось нам дружно и весело, для чего и доложил вам всё про всё.*

**Ваш сосед Олег Беляков».**

То ли ослабела Антонина Федоровна, то ли сентиментальна стала, а только тронуло ее это откровение на пишущей машинке. Она три раза перечитала «автобиографию» и три раза ощутила тепло в душе. И прямо — письмо требовало ответной прямоты — сказала об этом Олегу.

— Затем и писал, — признался он и неожиданно добавил: — Пока вы тут сил набираетесь, давайте мы у вас в комнате ремонт сделаем?

— Вот это уже ни к чему.

— Бойтесь, что стащим что-нибудь? Правильно: детдомовские, они такие.

Так спросил, так прокомментировал и так улыбнулся при этом, что она не смогла сдержать ответной улыбки. Но проворчала:

— Не терплю одолжений.

— Сочтемся! — безмятежно пообещал Беляков. — Обои показать или Алке выбор доверите?

— Доверяю, — сказала Ивановшина, но уже без ворчания и вполне серьезно.

А соседи во время ремонта все-таки кое-что «стащили»: адреса ее прежних «квартиранток», разлетевшихся по окончании института по работам и замужествам. И Антонина вторично онемела, когда в ее палату вдруг ворвалась немолодая и располневшая...

— Тоня, что с тобой? Что же ты мне-то не сообщила, Тонечка? Ведь не чужие же мы, кажется. Чего молчишь-то? Не узнаешь, что ли?

— Зинка, — с трудом выговорила Иваньшина, и слезы хлынули бурно и внезапно: впервые с того вечера. — Зиночка-корзиночка.

— И не одна, — всхлипнув, шепнула самая первая ее подопечная. — Эй, сынок! Иди с теткой своей познакомься.

И вошел застенчивый, неуклюжий, нескладный какой-то парнишка. Ну да не в этом дело, а в том, что на другой день Олега Белякова лишили постоянного пропуска в их отделение.

— Ну, знаете. — Лечащий врач только руками развел. — Мы с таким трудом Иваньшину из паралича выволокли, а вы?

— А я? — благодушно переспросил Олег. — Спасибо за комплимент, и давайте назад постоянный пропуск. Ее кормить надо, на ваших харчах йог и тот ноги протянет.

— Какой комплимент? Тут, понимаете ли, такая нервная встряска вами организована, что...

— Да бросьте, доктор. От радости ведь и вправду не умирают.

Вскоре после этого внезапного свидания, а скорее всего от первых своих слез Антонина Федоровна стала помаленьку ощущать собственные ноги. Стреляющие боли в пояснице, от которых, как она сама говорила, виделся ей порою салют Победы, прекратились, а там помаленьку да полегоньку начала она вставать и передвигаться. Сначала, как водится, с костылями, а потом с палочкой, самостоятельно. И в тот день, когда она похвасталась Олегу, что впервые добрела до процедурной, он сказал:

— Значит, можно и о делах. Эта Ладочка не желает добровольно выписываться. Своего бугая, правда, больше не приводит да и сама в вашу комнату без нас не заглядывает — замочек я там новенький врезал с секретом, — но выписываться и не думает. Вот почему я вас прошу подписать эту бумагу.

Иваньшина молча прочитала заявление на имя председателя горисполкома, в котором живописно, но без преувеличений была изложена вся история с Ладой и ее супругом. И просьба в конце: считать постоянную прописку гражданки такой-то недействительной по изложенным выше бессовестным причинам. От заявления, так живо напомнившего ей о последнем свидании с ласковой названной доченькой, стало и тошно и тоскливо, и Иваньшина подписала его, не исправив даже прилагательное «бессовестный» на какое-либо более вразумительное.

— А она — в суд, — вздохнула Алла.

— И я — в суд, — весело улыбнулся Олег. — У меня справочка об избиении имеется.

Ни о каком избиении, а уж тем паче о справочке Иваньшина не помнила, поскольку пребывала тогда по ту сторону суетных житейских подробностей. Но такая предусмотрительность со стороны нового соседа ей почему-то была неприятна. Однако она ничего не сказала: не хотелось ни о чем вспоминать, а уж менее всего — о том вечере.

Никакого суда не случилось: девочка Ладочка сочла за благо тихо и мирно выписаться и исчезнуть неведомо куда. Что при этом сказал ей улыбчивый Олег Беляков, Антонина Иваньшина не спрашивала, но то, что какой-то разговор состоялся, знала. Правда, не от Олега — тот помалкивал, сообразив, насколько неприятно ей любое напоминание об этом, — но по-женски разговорчивая и по-женски гордящаяся мужем Алла рассказала достаточно. Беседа была короткой, насколько можно было судить по Алкиным намекам, но содержательной, коли не только Лада, но и ее громогласный супруг не нашли контраргументов. И только год спустя Олег признался:

— Русакова Петра Игнатовича помните?

— Какого Русакова?

— Военкома. Ну, он еще орден вам вручал. Так я его тогда на разговорчик-то пригласил, вот тут-то они и утерлись.

Какими бы горькими ни были обиды и неожиданными радости, все пока шло Антонине Федоровне на пользу. Боли отступили, болезнь отпустила, и Иваньшина вернулась в отремонтированную, чисто побеленную, мытую-перемытую свою комнату на собственных

ногах. Правда, чуть приволакивая их, чуть раскачиваясь и — с палочкой, которую вырезал для нее все тот же Олег.

— Что-то уж больно беспокоитесь обо мне, больно опекаете. Право, неудобно как-то.

— Деньги будете предлагать?

— Да и деньгами неудобно.

— Точно. — Он кивнул. — Я детдомовский, ни отца, ни матери не знаю. А когда подросток, рассказали, что принесла меня в сорок пятом фронтовичка. Сдала и — в часть: ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подселиться, знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, свободное дело, мамой мне могли быть.

— Мамой, говоришь?

Горько усмехнулась Иваньшина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, ни про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега за волосы и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты».

Через неделю после выписки вернулась в школу — с палочкой и заметной проседью в гладко зачесанных волосах. И потянулись обычные дни, наполненные детским шумом, мальчишеским озорством, девчоночьими слезами, жалобами учителей, просьбами родителей, совещаниями, заседаниями, собраниями, вызовами в районо и в райком, собственными уроками и собственной усталостью. Все было прежним, знакомым и привычным, и только собственная усталость оказалась для нее новой. Глухой, опустошительно беспощадной, отнимающей разом все силы — и физические, и умственные, и нервные. «Надо привыкать, — сказала она себе, ощутив эту усталость и сразу поняв, что ей от нее уже никогда не избавиться. — Надо приспособливаться, терпеть и привыкать».

А так было всё, как бывало всегда, только Антонина Иваньшина не ходила более в родной институт, не приглядывалась к полушкольницам-первокурсницам, не заводила с ними бесед. С этим отныне было покончено раз и навсегда: Иваньшина умела говорить «нет» со всей жестокостью и непреклонностью офицера-фронтовика. И как ни горько ей становилось порою не столько от решения, сколько при воспоминании о причинах, заставивших ее принять такое решение, была тверда, ровна и почти спокойна.

Правда, жизнь ее изменилась не только в худшую сторону, и как знать, что случилось бы со всеми ее принципами, если бы не эти изменения. Если бы не веселые, дружные, жизнерадостные соседи, встречавшие ее как родную, обращавшиеся с ней как с родной и — Иваньшина постепенно убедилась в этом при всей своей настороженности — искренне считавшие ее таковой.

— Ребята, вы хотя бы деньги у меня берите, что ли. Ведь каждый день с ужином ждете, миллионеры.

— Ну что вы, Антонина Федоровна, — смущалась Алла. — Тогда нам радости убавится, понимаете?

А Олег улыбался:

— Все нормально, как в детдоме: торт, он что? Он — один на всех и все — на одного. Верно, Алка?

Была еще одна маленькая, чисто женская радость: в кои веки объявился-таки хозяин, и квартира, где вечно шатались розетки, провисала проводка, искрились штепсельные вилки и дымила печь, преобразилась. Ничего не ломалось и не обрывалось, вещи побаивались строгого хозяйского глаза и вели себя послушно: даже печка, обогревавшая всю квартиру, стала отдавать тепло куда щедрее, чем прежде. У Олега были воистину золотые руки и неиссякаемая любовь к ремонтам и усовершенствованиям: он не жаловал старого.

— Слушайте, Антонина Федоровна, чего это мы с печкой маемся? Морока и грязь, как в пещерные времена.

Так сложилось, что печь никогда не досаждала Иваньшиной, не отнимала у нее ни времени, ни сил, и вообще не ее это была забота. Даже те капризные, завидушные соседи никогда не утруждали ее топкой общей печи и никогда не жаловались, что она этой обязанностью пренебрегает. После войны раздобыть топливо — торф, дрова или уголь — было чрезвычайно сложно, и соседи сразу же разделили обязанности: Иваньшина добывает топливо, они топят печь. И так оно и было всегда, это разделение, и Олег заворчал совсем



не потому, что намеревался его пересмотреть, а потому, что сама печь раздражала его своим анахронизмом. Он обожал новшества не только в науке и технике, но и в быту и очень сердился, когда приходилось тратить время на печь.

— Каменный век!

Иваньшина отшучивалась, но Беляков был настойчив, и если уж задумывал что-либо, то непременно добивался. К тому времени в городе уже шло широкое строительство, центр, где они жили, реконструировался и благоустраивался. Олег походил, поинтересовался, потолковал с людьми (он был на редкость общительным человеком) и однажды встретил Иваньшину в состоянии радостного нетерпения.

— Пишите бумагу в горисполком: рядом с нами теплоцентраль строят. Просите подключить, да не забудьте о ранениях указать.

— Эти еще зачем?

— А затем, что вам, одинокой фронтовичке, раненой и контуженной при защите Отечества, трудно стало таскать дрова и уголь на второй этаж.

— А я и не таскаю.

— А они-то об этом откуда знают? Вы пишете, пишете, остальное беру на себя. Посуетимся, побегаем — глядишь, и выгорит.

Он был оживлен, шутил и улыбался; Иваньшина написала под его диктовку нужное письмо, но ей это было неприятно. Конечно, она понимала, что послевоенные трудности уже позади, что люди живут иначе, что печное отопление в центре огромного индустриального города и впрямь анахронизм, и все же что-то царапало в ее душе. Что-то не нравилось ей в цепкой энергичной напористости никогда не унывающего соседа, но она не знала, что именно, а доискиваться причин не хотелось. И вскоре забылось, а через месяц пришли рабочие, провели центральное отопление и разломали печь.

— Ну как атмосфера, Антонина Федоровна? — шумно радовался Олег. — Потеплела?

— А грязи-то, грязи! — сокрушалась Алла. — И зачем, спрашивается, мы ремонт делали? Снова белить да переклеивать...

— А вот это уже за мой счет, — строго сказала Иваньшина. — Не спорьте, ребята, я человек одинокий, зарплата немаленькая.

— Мы и не спорим, — улыбнулся Олег. — Все, как в дружной семье, чтоб топор и тот не обижался.

По случаю нового отопления закатили торжественный ужин. Иваньшина купила торт и бутылку вина, хотя пить врачи ей навсегда запретили. Но дело тут заключалось не в питье — кстати, Олег выпивал очень редко, — а в том семейном застолье и уюте, по которым так тосковала она всю жизнь, сама себе в том не признаваясь.

— Скажи, Олег, трудно было добиться резолюции?

— Это с вашей-то биографией? Чудачка вы, Антонина Федоровна, ей-богу, чудачка! Мне бы такую биографию, я бы давно в отдельной трехкомнатной со всеми удобствами жил. Да еще и с телефоном.

— А я, видишь, живу в двухкомнатной. И довольна вполне, заметь. И вообще должна тебе сказать, что ты слишком уж часто разводишь абсолютно ненужную суету. Это все неприятно, несолидно, это... оскорбительно даже. Отличительной чертой русской интеллигенции была всегда потребность отдавать, а не брать. Отдавать! И этот принцип я вполне разделяю.

Антонина Федоровна даже в семейных разговорах употребляла стандартные формулировки, особенно когда заговаривала об интеллигенции. Она словно побаивалась самого этого слова и непременно старалась подпереть его знакомыми формами: Олег давно в этом разобрался.

— Так вы же не детдомовская, как мы с Алкой, — обезоруживающе улыбнулся он. — И русская интеллигенция, честь ей и хвала, тоже не оттуда, между прочим. А насчет телефончика, может, подумаем, а?

— В городе номеров не хватает, — хмуро сказала Иваньшина: ей было неприятно упоминание о детских домах, хотя она понимала, что Олег в чем-то прав. — Тут действительно нуждающимся поставить не могут.

— А вы не действительно нуждающаяся?

Она хотела ответить, но смолчала. Мелькнуло вдруг в голове, как предупреждающий сигнал, что еще один приступ неведомой ей раньше болезни, еще одна больница — и она станет действительно нуждающейся. И Алла поняла ее невеселое молчание, сразу же громко заговорив о чем-то постороннем.

Потом пришло письмо.

Корреспонденция Иваньшиной всегда была обширной: писали фронтовые друзья, ветераны, подруги по институту, давно окончившие и разъехавшиеся «квартирантки». Но это письмо было особым; Антонина Федоровна вышла на кухню очень озабоченной и протянула письмо Алле:

— Читай вслух.

— «Дорогая моя Антонина Федоровна, пишет вам прежняя ваша надомница и нахлебница Валя, а ныне преподаватель русского языка и литературы Валентина Ивановна Прохорова (это по мужу, а по-старому я Лыкова). Вы у нас в семье — живая легенда, и дочка моя Тоня мечтает стать на вас похожей. В этом году она оканчивает десять классов и хочет поступать в наш педагогический...» — Алла перестала читать и молча уставилась на Иваньшину.

— Понятно, — сказал Олег. — Ария певца за сценой.

— Антониной назвала, — вздохнула Иваньшина. — Валя Лыкова, значит. Хорошая была девочка, старательная и скромная.

— Все они хорошие. — Алла недовольно покачала головой.

— Погоди, Алка. — Олег походил по кухне, размышляя; остановился против Иваньшиной. — Берите. Ну? Мы поможем, а вам и веселее и привычнее. Берите, Антонина Федоровна, эту свою Тонечку.

И в тот же вечер бесконечно благодарная Олегу Иваньшина написала письмо Вале Лыковой (теперь — Прохоровой), в котором просила откомандировать под ее ответственность юную Тонечку Прохорову. Однако будущая абитуриентка, будущая — это если пройдет, тьфу, тьфу! — студентка намеревалась приехать в августе, то есть через девять с лишним месяцев. За это время многое могло произойти.

И произошло.

Начало года оказалось настолько радостным, что Иваньшина несколько раз суеверно подумала, что все это не к добру. И хмельной аромат новогодней елки, и радостные звонкие игрушки, и сама встреча с этой елкой оказались действительно праздником. Пока директриса проводила школьный новогодний вечер, дверь ее комнаты открыли, кое-что сдвинули с места, а когда Иваньшина вернулась и зажгла свет, то вспыхнула разноцветными огнями нарядно убранная елочка. Это было так неожиданно и так прекрасно, что Антонина Федоровна невольно вскрикнула, и тотчас же с криком и хохотом вбежали Беляковы.

— С Новым годом!

Никогда не было у нее такого Нового года. И такого 23 февраля, когда вечером ее ожидал пирог с надписью: «ГЕРОЮ ВОЙНЫ». И такого 8 Марта...

А 10 марта к мылу приклеилась мыльница, и, когда Иваньшина взяла его в руки, мыльница упала на пол и раскололась. Ерундовая мыльница, копеечная, но — соседская, а по горло занятая школьными делами (четверть кончалась!) директриса все время забывала ее купить. И вспомнила спустя неделю, увидев в хозяйственном отделе универмага. «Господи, наконец-то набрела, растрепа беспамятная», — проворчала она про себя и положила пластмассовую мыльницу в сумку.

Хозяйственный отдел был обширным, и она медленно бродила по нему, разглядывая всякие нужные и ненужные вещи. Но, разглядывая товары, Иваньшина думала совсем не о них, а о девушке в фирменном халатике со значком, которая стояла у входа на контроле. Лицо ее показалось Антонине Федоровне знакомым: кажется, именно эту девочку два года назад по ее настоянию исключили из школы, поймав в раздевалке с сумкой, набитой чужими шарфами и шапочками. После больницы Иваньшина никак не могла припомнить ее фамилии, да и лицо стерлось в памяти, но сейчас показалось: она. Настолько вдруг и настолько ясно показалось, что директриса сказала, проходя мимо: «Здравствуй, Трошина», но ответа не

получила. И теперь, бродя вдоль стоек, в ячейках которых были навалены товары «для дома, для семьи», все время думала, Трошина это или не Трошина и правильно ли она поступила тогда, настояв на ее исключении.

Эти мысли настолько занимали ее, что ни о чем ином уже не думалось. Она машинально бродила по отделу, машинально брала в руки различные предметы, машинально разглядывала их и ставила на место. Правильно она тогда поступила или сгоряча, не учитывая ни возраста, ни личности провинившейся, — вот о чем думала она, и вывел ее из этой задумчивости девичий голос:

— А в сумке что у вас спрятано?

Иваньшина очнулась от размышлений и по тону, по голосу узнала: Трошина. Только имени никак вспомнить не могла.

— Здравствуй, Трошина. Не узнаешь меня?

— Я спрашиваю, что у вас спрятано в сумке, гражданка.

— Ничего. — Иваньшина была выбита из привычного состояния агрессивностью интонаций и отвечала растерянно. — Зачем же ты так, в таком тоне?

— Откройте сумку.

— Что с тобой, Трошина? — тихо спросила она. — Не терпится продемонстрировать власть?

— Требую открыть сумку! — Продавщица повысила голос. — Вера Тимофеевна, Люба, Лара, подите сюда! И милиционера пригласите.

— Как тебе не стыдно, Трошина. — У Иваньшиной потемнело в глазах. — Я директор школы...

— Откажетесь открыть сумку — отберем силой. Понятно?

Антонина Федоровна задрожавшими руками открыла сумку и, перевернув, вытряхнула ее содержимое на пустой прилавок. Посыпались монетки, кошелечек, шариковые ручки, платочек и копеечная пластмассовая мыльница.

— Вот, видите? Все видите? — с торжеством закричала продавщица. — А где чек на оплату?

— Чек?.. — Иваньшина окончательно растерялась, в голове туго застучали молоточки. — Я не знаю. Наверно, я машинально...

К этому времени на подмогу Трошиной уже подтянулись другие продавщицы. Милиционера, правда, не было, но зато группа с директором школы в центре стала быстро обрастать любопытными.

— Тихо! — громко сказала старшая продавщица. — Вы оплатили товар, гражданка?

— Вероятно, нет, но...

— Воровка! — звонко крикнула Трошина. — Подруги, я четвертый день за нею это замечаю.

— Какой четвертый, что ты, я же не хожу сюда...

— А где тогда чек? Чек где, спрашиваю?

— Помолчи, Трошина. Я спрашиваю вас, гражданка, вы оплатили покупку?

— Кажется, нет. Кажется, я забыла. Я стала забывать, я лежала в больнице.

— Значит, товар вы не оплатили. Так?

— Я же говорю, воровка она!

— Замолчи, Трошина! — оборвала старшая. — Придется пройти к директору. Мы составим акт...

Острая боль раскаленной спицей вновь вонзилась в спину. Перед глазами полыхнуло пламя, и бывший старший лейтенант Иваньшина грузно сползла на пол.

Та же больница и тот же врач, те же резкие и быстрые сестрички, по вечерам, когда уходило начальство, бесконечно долго болтавшие по телефону («А он что?.. А она что?..»). И даже палата оказалась той же, только сама Антонина Федоровна стала иной. Заговорила, правда, уже на второй день, а вот ноги и ощущались чужими, и стали чужими, словно она утратила не только силу, но и власть над ними.

— Быстро вы к нам вернулись, — вздохнул заведующий отделением.

Он был не просто заведующим и даже не просто хорошим специалистом: он был фронтовиком, и Иваньшина испытывала к нему безграничное доверие. Вероятно, это и сыграло решающую роль в том, первом случае, но теперь одной ее веры было уже недостаточно. Доктор наблюдал, хмурился, советовался, устроил консилиум, а после него вызвал Олега Белякова.

— Лекарство сможете достать?

— Если оно в природе водится.

— Водится, только не в нашей, к сожалению, и официальный рецепт на него я выписывать не имею права. А неофициальный — вот он.

— К этому неофициальному хорошо бы официальное письмо, — сказал Олег. — Так, на всякий пожарный.

— На чье имя?

— В Комитет ветеранов. Уж если они не помогут...

— Тогда и руки по швам? — сердито спросил врач, принимаясь писать официальное письмо.

— Тогда в другой комитет напишем, — улыбнулся Беляков.

С официальным письмом и неофициальным рецептом Олег отправился сам. Упросил в лаборатории, где работал, дать ему три дня в счет донорских и уже на следующий день вылетел в Москву. А через два дня явился с лекарством на полный курс лечения.

— Как это вам удалось? — ахнул невропатолог.

— Нет проблем, доктор, есть лишь разные пути к их разрешению.

— И все же? — допытывался доктор. — В два дня вы совершили невозможное.

— И в два часа, — уточнил Олег. — Знаете Вельяминова Валентина Георгиевича? Ну членкора, лауреата, депутата...

— Биолога? Знаю, труды его читал.

— Так вот, я с самолета — прямо к нему. Главное было дома его застать, а остальное — семечки, как говорится.

— Вы же с того света ее вытащили, — патетически воскликнул врач. — С того света!

— Сочтемся.

Сочлись для всех незаметно и неожиданно. Узнав от доктора, кому обязана спасением, Антонина Федоровна не смогла сдержать слез.

«А имя у тебя все равно девчоночье, академик...»

— Ладно, тетя Тоня, кончай реветь, — сердито сказал Олег.

— Не буду, Олег, не буду, — прошептала она, поспешно вытирая слезы. — Как он выглядит-то? Толстый? Очень постарел?

Он впервые назвал ее тетей, впервые обратился на «ты», впервые позволил себе командные нотки, а Иваньшина вроде бы и не заметила ничего. То ли ослабела, то ли думала о военкома-товском подвале, то ли отношения их, вызрев, естественно, сами собой должны были перейти в иное качество.

Швейцарское лекарство, которое с помощью бывшего лейтенанта Вельяминова раздобыл и привез Олег, почти поставило Антонину Федоровну на ноги. Почти потому, что она вновь обрела власть над ними, хоть, правда, и весьма ограниченную, а вот силу обрести ей так и не удалось. Колени дрожали и подгибались, и Иваньшина ходила теперь только с костылями. И, несмотря на то что врач всячески обнадеживал ее, она точно знала, что от костылей ей уже не избавиться. Это было страшно, и все же в панику бывший командир стрелковой роты не ударилась: если ее спаситель Олег Беляков исповедовал убеждение, что проблем нет, а есть лишь различные пути их разрешения, то она до сей поры свято веровала во фронтовую заповедь: никогда не сдаваться. В конце концов есть соседи, есть тылы, есть резервы, есть командир, у которого на крайний случай можно попросить поддержки огнем, если уж совсем станет невмоготу. Под поддержкой огнем с некоторого времени она стала

понимать аккуратно вычищенный «вальтер» с полной заряженной и запасной обоймами, с тремя десятками патронов россыпью, которые хранились в верхнем ящике комода под старыми газетами, письмами и фотографиями. К его последней помощи она всегда могла прибегнуть, если дойдет до точки, если откажут ноги и перестанет слушаться язык, потому что и у нее, как и у Олега, тоже никого из родственников на этом свете не числилось. И поэтому Антонина Федоровна, приняв свое полупарализованное тело как данность и волей подавив отчаяние, сосредоточила все свои силы на трех вопросах.

Первый касался злосчастной истории с пластмассовой мыльницей, о которой никто ничего так и не узнал, потому что она никому ничего не сказала. Вначале, когда язык еще с огромным трудом шевелился во рту, Антонина Федоровна много и всегда с острой и горькой обидой думала о чудовищном позоре, который обрушила на нее бывшая ученица. В тот период Иваньшина непременно добилась бы строгого наказания продавщицы Трошиной, но язык тогда не подчинялся ей, и гнев постепенно утихал. Память, к счастью, у нее не пострадала, и, старательно вороша сейчас ту давнюю историю с исключением девочки, Антонина Федоровна начала допускать и вероятность собственной ошибки. Она отчетливо помнила, как рыдала в кабинете Трошина, как уверяла всех, что хотела только подшутить над подругами, попугать их; как ей все не верили, хотя, в сущности, это объяснение было правдоподобным. Да, девочка вполне могла позволить себе идиотскую шутку, розыгрыш своих одноклассниц, но эту версию никто тогда не пожелал рассматривать, и директриса в первую очередь. И прибегла к самому простому для нее и самому жесткому для девочки решению: исключить из школы за аморальное поведение. Вывод был скоропалительным, суд, скорее всего, неправым, а неправый суд рождает жажду возмездия. И после долгих колебаний и размышлений Антонина Федоровна признала за Трошиной право на мщение, и этот вывод, как ни странно, не просто успокоил, а и умиротворил ее; с гневом, обидами да и вообще с неприятными воспоминаниями о той нелепой сцене в универмаге было покончено раз и навсегда, и никто никогда об этом так и не узнал.

Удивительное дело: признание собственной неправоты и тем самым, так сказать, отпущение греха той, которая спровоцировала второй приступ тяжелейшей ее болезни, породило в душе ее стойкое, тихое, равносильное почти праздничному настроение. Она представила, что могло случиться, добейся она сурового наказания продавщицы, и честно призналась самой себе, что то злорадное и быстротечное торжество, которое, вероятно, она испытала бы при этом, было бы в результате ущербным, как яблоко с жирным белым червячком в сердцевине. Теперь она думала о том, что гнев не дает и не может давать радости, ибо он обладает не созидательной, а лишь разрушительной энергией, — вот к каким мыслям пришла Иваньшина в конце концов, и мысли эти согрели и утешили ее, и к обдумыванию второго насущного вопроса она подошла с хорошим запасом спокойствия и готовности творить справедливость.

Этим вторым вопросом было ее собственное будущее. Да, она вполне могла бы продолжать руководить школой, где ее знали столько лет, где ее уважали, в меру побаивались и слушались, — разве что пришлось бы перенести директорский кабинет на первый этаж. Да, ее непременно оставили бы на этой должности, учитывая авторитет и опыт, фронтовые заслуги и тяжкие их последствия. Оставили бы по первой же ее просьбе, а то и без всякой просьбы, но непременно после паузы, ожидая, что у нее самой хватит пороку отказаться от всех своих должностей и преимуществ. И она может понять эту паузу и почувствовать ее, а может и не понять, и тогда все останется как было, и... Но ведь будет же, непременно будет эта пауза, это ожидание, эта невысказанная вера в ее добросовестность, мужество и сознательность. Директор школы, прикованный к собственному руководящему креслу? Красиво для заметки к 8 Марта и неудобно, чудовищно неудобно по существу. Неудобно педагогам, которые невольно начнут жалеть, а жалея, недоговаривать, скрывать неприятности, утаивать чрезвычайные происшествия и, оберегая ее, решать главное за ее спиной. Неудобно инспектирующим и контролирующим, вынужденным — даже невольно! — считаться с ее инвалидностью, которая всегда будет своеобразной индульгенцией во всех ее деловых отношениях. И, наконец, самое главное: неудобно будет здоровым, веселым, буйным, шумным, озорным детям, которым непременно самым образом станут делать массу замечаний, ссылаясь на ее тяжелое положение. Вот сколько неудобств создаст она, решив изображать из себя героиню, этакое Маресьева на трудовом фронте: нечестно, недостойно и

глубоко эгоистично в сути своей. Нет незаменимых работников, это легенда, и при всех прочих равных условиях всегда более ценен работник здоровый. Вовремя сойти с лыжни, чтоб не тормозить тех, у кого больше сил, умения, мастерства, возможностей, — это и есть элементарное соблюдение неписаных законов общежития. Это нормально, честно и достойно: уступить место завтрашнему дню. Да и пенсия для нее ведь не безделье: областное издательство и обком комсомола дважды просили написать воспоминания. Вот это действительно сделать надо, ее почти исключительный уникальный опыт должен быть сохранен для сегодняшних и завтрашних девочек. Невест. Невест?.. А она никогда не была невестой, но об этом — после, потом. Об этом потом: главное — заявление об освобождении от занимаемой должности, а затем невеселое оформление пенсионера по инвалидности.

Ну, и последнее: письмо Вале насчет дочери. Чтобы не присылала, так как рассчитывать на помощь Антонины Федоровны Иваньшиной более не приходится.

— Долго думала, тетя Тоня? — Олег окончательно перешел на «ты», что Иваньшиной, честно говоря, нравилось. — Значит, отказываешь девчонке в возможности учиться в областном вузе?

— Почему отказываю? Пусть учится, только живет в общежитии.

— А ты будешь на костылях ее от института до общежития по вечерам провожать. Так или не так?

— Ну, а если она у меня жить будет, так и вечера отменят?

— Спокойно, тетя Тоня, спокойно. Во-первых, ни к чему девчонке излишняя опека, а во-вторых, если она где и застрянет, так ее Алка приведет. Или я.

— Понимаешь, Олег, я ведь инвалид. Глубокий инвалид.

— Ты — пример. Всем пример, живой пример перед глазами! И ей это — позарез, и она тебе — позарез. Вот и пиши письмо, чтоб ехала, не задумываясь. Лично встречу у вагона.

Разговор этот случился весной, когда девчонка Тонечка, ни о чем не ведая, еще училась в 10-м классе, еще только готовилась к выпускным экзаменам и об институте, кажется, мечтала больше мама Валя. Но Олег умел добиваться чего хотел, и Антонина Федоровна тогда же написала ей письмо, в котором хоть и сообщала о болезни и намерении уйти на пенсию, но от девочки не отказывалась. Лыкова (ныне Прохорова) тут же ответила, а вскоре и сама примчалась проведать, и участь Тони-младшей была при этом окончательно решена.

Перед отъездом Валя с глазу на глаз потолковала с Аллой. Естественно, о дочери.

— Поможем, вы не беспокоитесь, — сказала всегда спокойная, основательная Алла. — Все будет нормально, а тете Тоне, учтите, о девочке заботу проявить — плавное лекарство.

Олег дежурил в добровольной народной дружине, в квартире никого не было, и женщины уютно пили на кухне чай, обсуждая будущую Тонечкину жизнь. Сама Тонечка при этом и знать не знала, что распорядок ее занятий, круг знакомств и точное указание, где, когда и с кем можно встречаться, уже оговорены на все пять лет учения. Вообще Тонечка старалась никого никогда не огорчать, но в пединститут куда больше стремилась мама, чем дочь, а если о чем Тонечка и мечтала, так это о том, чтобы как можно скорее улизнуть от папы с мамой.

Основательно продумав все, Антонина Федоровна начала решать свои проблемы и первым делом заручилась согласием на приезд Валечкиной Тонечки. Вторым вопросом, откуда ни считай, шли всякого рода бумажные дела, и очень скоро директриса Иваньшина написала в горно заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Заявление отвозил Олег: он передал его, минуя бюрократическую иерархию. Антонина Федоровна ожидала ответ недели через две, если не через три, но уже через пять дней в палату заглянул лечащий врач:

— К вам, Антонина Федоровна. Посетители.

В голосе было что-то странное, но Иваньшина не успела об этом подумать. Доктор исчез, дверь открылась, и вошли двое немолодых и весьма солидных мужчин с пакетами. Одного Антонина Федоровна знала по совместной работе, но второй...

— Товарищ военком?..

— Был, — сказал отставной полковник, не зная, куда девать пакет с апельсинами. — Был военкомыч, стал горкомыч. Ты что это, старший лейтенант, дезертируешь с фронта?

— Да, ставишь ты нас, понимаешь, в положение, — вздохнул завгороно, по-мужски неуютно и бестолково прижимая к груди собственный пакет, похожий на пакет полковника как две капли воды. — Не посоветовалась, понимаешь, не поговорила. Может, сперва путевочку тебе организовать, чтоб подлечилась, окрепла, дурные мысли чтоб из головы выбросила?

Не продумай Иваньшина свое решение досконально, не покантуй с грани на грань, не взвесь все «за» и «против», не поспорь сама с собою несколько бессонных ночей — уговорили бы они ее. Она ведь не командовать мужиками всю жизнь мечтала, а подчиняться им, и всегда была готова склонить голову перед волей и тут бы не выдержала. А сейчас только улыбалась, вытирала тайком слезинки (ослабела настолько, что уж с благодарности, от умиления нюни разводит!) и твердо знала, что права она, а не они. И спокойно, толково начала объяснять... Но тут Олег вошел, пришлось прерваться.

— Чего тебе?

— Здравствуйте, товарищи. Прости, тетя Тоня.

Убрался. Да еще подмигнул ей при выходе: мол, не унывай, соседка! И Антонина Федоровна с еще большим подъемом закончила свои объяснения.

— Резон, — нахмурившись, сказал бывший военком. — Совестьливая ты баба, Иваньшина Тоня. Всем бы такими быть.

А заведующий гороно только сокрушенно вздохнул. Молча пожал руку, кивнул ободряюще. И отставной полковник добавил:

— Наша ты, поняла? Пенсионерка там или нет — все равно наша. С ответственностью говорю.

В коридоре посетителей ждал Олег. Вежливо проводил до машины, тихо переговорил и чуть не бегом вернулся в палату.

— Пиши заявление на телефон, тетя Тоня. Есть полная договоренность.

— А я тебя просила? Неужели ты не понимаешь, что мне ничего не нужно? Ничего. Не за то я на фронт пошла, чтобы квартиры да телефоны вне очереди...

И примолкла, вдруг расслышав собою же сказанное: «квартиры». Расслышав и вспомнив, что в победном горьком, веселом и нищем сорок пятом, когда тысячи вдов и сирот ютились по подвалам и временкам в немыслимой тесноте, сырости и мраке, не отказалась ведь от предложенной старым военкомом помощи, вырвала у городских властей отдельную комнату. Не постеснялась ведь, орденами брякая, мимо бесконечных, тихих, покорных очередей на прием прийти за ордером. Думала она тогда об одиноких матерях, о вдовах, о детишках в трущобах? Нет, не думала. О себе думала она тогда да о лейтенанте Валентине Вельяминове. А сейчас поумнела, о других начала думать, а того и до сей поры не сообразила, что и Олег и Алла еще не умеют ни о ком, кроме себя, страдать да заботиться. Кроме себя и ее. А может, и о ней заботятся тоже только ради себя? Ну и что же тут крамольного? Они гнездо строят, им жить и дольше и дальше, и, значит, все правильно.

— А если ночью доктор потребуется, что делать прикажешь? Бегать по улицам да исправный телефон-автомат искать?

— Твоя правда, Олег.

Вот так и разрешились все проблемы Иваньшиной: прощением продавщицы Трошиной, девочкой Тонечкой и уходом на пенсию, так сказать, с обменом на домашний телефон. Его и впрямь поставили очень быстро — Олег сам добывал все резолюции, сам просил, сам грозил и сам телефонистам помогал, — и к возвращению Антонины Федоровны ее ждало два аппарата: один — в собственной комнате, другой — в коридоре на тумбочке.

— А почему в свою комнату не провели?

— Нам, тетя Тоня, не положено.

— Глупости какие!

Иваньшина сердилась для виду, потому что была очень довольна, увидев второй телефонный аппарат на общей территории. В этом для нее заключалось нечто большее, чем подчеркнутое отсутствие претензий: надежность. Надежность этих людей прочла она в столь простом и столь очевидном поступке.

— Значит, из дома без нас ни шагу. Продукты Алка будет доставлять, а гулять нам с вами, тетя Тоня, придется по вечерам. И чтоб телефон всегда под рукой, когда мы на работе.

Режим был задан веселым соседом, умевшим добиваться своего. А распорядок дня складывался в зависимости от занятости Олега и Аллы, поскольку существовала не только их работа, но и дополнительные затраты времени на различного рода дежурства, собрания, заседания, магазины, знакомых, редкие развлечения вроде общих культпоходов у Аллы или еще более редких посещений пивбара у Олега. Но что бы ни было у каждого в отдельности или у двоих вместе, Алла никогда не забывала о молоке, твороге и кефире для тети Тони, и Олег, когда бы ни возвращался, непременно выкраивал часок, чтобы погулять с нею по тихому вечернему переулку, куда выходил торец их деревянного дома. При этом соседи всегда были веселы и добродушны и с нею и друг с другом, и Антонина Федоровна благодарила судьбу за свое удивительное везение.

— Если по среднему арифметическому, то нам двоим денег хватает. — Олег любил поговорить, сопровождая Иваньшину на ежевечерних прогулках. — Запросы у нас скромные, к хрусталиям мы не приучены.

— А зачем кровь часто сдаешь?

— Для отпуска, тетя Тоня. Они мне три дня к отпуску за каждую банку плюсуют, а я туризм люблю. Костерок, палатка, лес шумит — свобода!

Что-то он говорил еще, а Антонина Федоровна вдруг припомнила, что ее соседи никогда не брали отпусков вместе. Ни разу. И даже остановилась.

— А Алка палаток с кострами не любит?

— Почему не любит? Еще как любит... — Олег спохватился, помолчал, засмеялся. — Главное в отдыхе — свобода, тетя Тоня, понимаешь? И поэтому мы берем отпуска в разное время...

— А вот врать не надо. — Она вздохнула. — Я, дура, только сейчас сообразила, что вы меня ни разу одну не оставляли. Ни разу за все время нашей общей жизни.

И зашагала вперед, резко вынося тело и со стуком переставляя костыли. Олег прибавил шагу, помолчал, вздохнул:

— Хуже будет, когда ребенка заведем.

— Хуже?

— Труднее, — поправился он. — И в смысле туризма, и в смысле денег. Но я, тетя Тоня, знаешь во что верю? В собственные руки. Хорошие у меня руки, не хвалясь, скажу. В смысле там техники, электроники, всяких тонкостей. Я ведь в техникум электронной промышленности исключительно по доброй воле пошел. Исключительно сам выбрал, хотя и конкурс там был, как в киноактеры. Но я угадал с призванием, и конкурс мне был — тьфу, одно удовольствие. Технарь я, тетя Тоня. Вполне современный технарь с электронным уклоном. И знаешь, чем думаю заняться? Реставрацией телевизоров, поняла? Не ремонтом — ремонт и служба быта сделает, а реставрацией, или, чтоб ясно было, так восстановлением абсолютных гробов.

— Что-то ты плоховато мысль излагаешь, Олег. Может, специально темнишь, а?

— А чего темнить, когда дело чистое. В комиссионке старый телевизор стоит два, от силы — пять червонцев. Я его законно покупаю, довожу до ума и четкой видимости и — снова в продажу. Только теперь уж не за три червонца, а за две сотенных. Законно?

— А где же ты возьмешь детали?

— А руки на что? — Он улыбнулся. — Все предусмотрено, тетя Тоня, сальдо-бульдо в нашу пользу — и никакого тебе мошенства!

Антонине Федоровне было трудно спорить с Олегом. Точнее, даже не спорить, а разговаривать на равных. И причиной тому являлась его всегда чуть ироничная, но добрая и какая-то замедленная, что ли, улыбка. Он не просто улыбался, он словно расцветал неторопливо, сам удивляясь, что улыбается и расцветает. И спорить с такой улыбкой не было никаких возможностей; Иваньшина знала, что это бесполезно, а потому, как правило, и не пыталась. Но никогда и никому — даже себе самой! — не признавалась в истинной причине своего соглашательского поведения. А порою вдруг что-то срабатывало в ней, что-то принципиально обратное тому тайному, и тогда она начинала спорить решительно и



нелогично, и, хотя при этом предпочитала смотреть в пол, переубедить ее не удалось бы никому на свете. Олег слишком хорошо изучил ее: наткнувшись на подобную преграду, тут же менял разговор и к теме, вызывавшей резкое неприятие, более не возвращался.

— Тебе бы машину, тетя Тоня. Села за руль — и на природе.

— А я и так вон гуляю.

— Это в городской-то пылице?

И опять Иваньшина растерянно примолкла, потому что сочетание абсолютно серьезного тона с медленно «расцветающей», как определяла про себя Антонина Федоровна, улыбкой сбивало с толку. Порой ей казалось, что Олег как бы проверяет ее на нравственную стойкость, искушая соблазнами и чуточку подсмеиваясь при этом. Как бы там ни было, а их споры никогда, ни разу еще не доходили до выяснения принципиальных позиций; уловив металл в ее тоне, Беляков немедленно отступал, стараясь отделаться шуточкой, но Иваньшина ощущала некоторую досаду, поскольку никак не могла понять своего молодого соседа.

С Аллой было куда легче. Неторопливо и обстоятельно обсуждали хозяйские дела, смотрели — если получалось со временем — любимую кинопанораму с Эльдаром Рязановым, вязали, шили, чинили. Алла была мягкой, уютной и покладистой; с нею становилось покойно, мир суживался до размеров кухоньки, а все его тревоги, страсти и трагедии оставались где-то за бревенчатыми стенами их двухэтажного двухподъездного двенадцатиквартирного дома в тихом, словно забытом городом и строителями переулке почти в самом центре. С нею Иваньшина приятно ощущала себя хозяйкой, отдыхала душой, но с Олегом все равно было интереснее, и тянуло ее к нему, наверное, только поэтому.

— Завтра к тебе, тетя Тоня, из издательства рыжая придет. Крашенная, что ли, не разобрался.

— Какое еще издательство, Олег?

— Областное. Ты же как-то сказала, что хочешь книжку о себе написать. Вот и пиши теперь.

Он вернулся с работы, Алла еще не пришла, и Антонина Федоровна кормила его на кухне. Подавала и убирала, а когда нечего было ни подавать, ни убирать, садилась напротив и с удовольствием смотрела, как неторопливо и с аппетитом он ест. И становилось на редкость тихо и радостно. И вдруг — издательство, какая-то рыжая, какая-то книжка.

— Никакой книжки я писать не буду.

— Понимаю. А еще понимаю, что для этого дела договор нужен. Взаимные обязательства, сроки и аванс.

— Аванс?

— Точно. Я у главного редактора был, все оговорено, команда спущена. Завтра жди рыжую редакторшу. Ольгой ее зовут.

Он не давал ей ни опомниться, ни озаботиться, ни запечалиться, ни уйти в себя. Он отлично понимал, что бывший командир стрелковой роты старший лейтенант Иваньшина может жить в борьбе, в деле, в сражении, а не станет всего этого — вспомнит, что глубокий она инвалид, что жизнь прожита, что счастья нет и не будет и — все. Кончится боевая, деятельная, живая тетя Тоня, и возникнет кислая, старая, занудная развалина-соседка. Старуха, уныло считающая рублевки персональной пенсии и дни до смерти. И Антонина Федоровна слушалась его не только из-за медленной его улыбки, но главным образом в благодарность за то, с какой неукротимой выдумкой и энергией он дрался за нее.

— Ох, не смогу я.

— Сможешь.

И Иваньшина сразу перестала тревожиться: действительно, а почему это она не сможет? Мужиков на пулеметы поднимать могла, а написать об этом — кишка тонка? Неправда, напишем, как оно было: другие ведь пишут.

Вообще-то о том, чтобы написать небольшую книжку, она думала часто, потому что, кроме желания поделиться своими размышлениями, опытом воспитания и собственной жизнью, имела и некоторый навык, так сказать, пробу пера. В ее активе числилось пять работ: две статьи в «Учительской газете» по вопросам профессиональным и три очерка — в

областной. После этих трех очерков, а по сути, отрывков из будущих воспоминаний, к ней и обратилось с предложением издательство, поддержанное обкомом комсомола. Но Антонина Федоровна все медлила, все раскачивалась, все никак не могла решиться. Ей нужен был толчок извне; Олег и в этом случае все понял и все организовал.

Через день действительно явилась молодая, слегка подкрашенная блондинка. Оговорив с Антониной Федоровной круг вопросов, которые желательно было отразить в будущих воспоминаниях, рыжая помогла составить нечто вроде творческой заявки, а вскоре привезла договор, подписанный директором издательства. Согласно этому документу гражданка Иваньшина, именуемая в дальнейшем «АВТОР», обязана была через год представить издательству рукопись, объемом в восемь авторских листов, то есть, как пояснила рыжая, в двести страниц машинописного текста.

— Ой, Олег, травил ты меня!

— Ерунда, тетя Тоня. Подумаешь, авторские листы! Это же все равно что двести писем написать. Двести писем в год: неужели не напишешь?

Антонина Федоровна успокоилась после такого разъяснения, но через полтора месяца ей прислали аванс. Сумма показалась значительной, Иваньшина занервничала, собралась было отослать деньги назад, но тут случилась Алла, с которой захотелось посоветоваться, и спокойная, рассудительная, этакая «девочка с поволокой» как-то очень просто убедила ее, что все будет отлично, а деньги отсылать — значит тех обидеть, кто авансом доверяет. Такой аргумент не приходил Иваньшиной в голову; она с облегчением рассмеялась, и неудобство развеялось само собой. Но возникло в иной форме, когда Антонина Федоровна принесла всю полученную сумму на кухню и положила на стол.

— Это вам.

— Еще чего? — закричала Алла. — Это что же такое? Это же как тебе не совестно, тетя Тоня?

— Хорошо, — неожиданно сказал Олег.

Сгреб деньги со стола, сунул в карман, и Иваньшиной сразу стало не по себе. Нет, она, конечно, не жалела денег — она вообще никогда ничего не жалела, — но ей хотелось, чтобы соседи отказывались, отнекивались, сердились бы даже, а она бы их уговаривала. Тогда все выглядело бы вполне достойно, прошло бы по каким-то «правилам», что ли, а он вместо этого сунул деньги в карман, даже не сосчитав.

— Вот и отлично, — с деланным оживлением сказала она. — Вам они куда нужнее.

— Отдай сейчас же, — сквозь зубы процедила Алла.

— И не подумаю.

— Я сказала, верни деньги.

— И не подумаю! — весело повторил Олег. — Коли тетя Тоня дает, значит, о чем-то думает. Так или не так?

— Конечно, думаю, — согласилась она, но ей почему-то стало вдруг совестно.

— Стыдно, стыдно! — громко крикнула Алла, стукнула по столу бутылкой кефира, заплакала и убежала к себе.

— Не расстраивайся, тетя Тоня, — тихо сказал Олег. — Ребеночка она ждёт, вот какое дело.

— Ребеночка? — радостно ахнула Антонина Федоровна, а у самой отчего-то так сжало сердце, что пришлось сесть.

Но Олег не заметил и не ответил, а ушел вслед за женой. Утешать, наверно. А на другой день, воротясь с работы, протянул Иваньшиной новенькую сберкнижку.

— Держи свои капиталы, тетя Тоня. И нечего переживаниями заниматься. Работать пора, а то аванс назад потребуют.

На другой день он принес три пачки бумаги и целый набор шариковых ручек, но Иваньшина все никак не могла тронуться с места. Каждое утро, проводив соседней на работу, садилась к столу, клала перед собою лист и застывала над ним, не в силах вывести первую фразу. Именно первую: дальше она ясно представляла, о чем будет писать.

Звонок в дверь застал ее в разгар бессмысленного отчаяния над чистым листом. Пока она поднималась, пока брала костыли, пока тащилась к входным дверям, звонок брякнул еще раз. Коротко и очень неуверенно.

— Иду, иду, — сердито проворчала она.

Распахнула дверь и обмерла: перед нею, держа в руках цветы и меховую шапку, стоял седой, с заметной лысинкой, солидный, но вполне еще стройный мужчина.

— Здравствуйте, старший лейтенант Тонечка.

А у нее запрыгали губы — слова выговорить не могла. И слабость такая вдруг изнутри прорвалась — если бы не костыли, рухнула бы старший лейтенант Тонечка. Но посетитель догадался, шагнул через порог, подхватил.

— Спасибо, Валентин. Я сама дойду, спасибо.

— Я здесь в командировке, — зачем-то начал объяснять он. — За один день управился и вот решил...

Кажется, Вельяминов волновался больше, чем она. Говорил что-то еще, столь же необязательное: Антонина Федоровна не слушала. Приплелась в комнату, рухнула на стул. Вельяминов сел напротив, тут же перестав бормотать. И так они сидели долго, улыбались друг другу и молчали.

— Извините, — наконец тихо, с трудом сказала она. — Это так неожиданно. Сколько же лет прошло?

— Должно быть, немало, если старший лейтенант Иваньшина обращается к лейтенанту Вельяминову только на «вы».

Они говорили весь день. О чем? Обо всем и ни о чем, как всегда говорят давно не встречавшиеся друзья. О своей молодости, о подвале военкомата, о бесконечных спорах, о холоде и голоде победного сорок пятого, о неповторимости судеб поколений.

Вельяминов ушел поздно, а утром вылетал в Москву. Олег пошел его провожать, Антонина Федоровна вернулась в комнату из прихожей, села за стол и, продолжая улыбаться и смахивать слезы, взяла ручку и вывела первую фразу: *«Сегодня утром вдруг раздался звонок, и ко мне прямо из юности шагнул лейтенант Валентин Вельяминов...»*

Потом она изменила первые фразы, но начала именно так и именно тогда. Начала с улыбкой и слезами, потому что к ней в комнату и вправду шагнула в тот день ее молодость, счастье и отчаяние: ее последняя любовь.

Антонина Федоровна писала натужно и медленно, трудно цепляя слово за слово и часто теряя мысль. Порою ее охватывало бессильное отчаяние, она бросала работу, но вечером появлялся Олег и безошибочно определял:

— Что, тетя Тоня, опять «караул» кричишь?

— Ты все смеешься, все зубоскалишь, а у меня ничего не выйдет. Ничего. Я неспособная.

— Понимаю: муки творчества. Понимаю и уважаю. Но скажи честно: может человек в день написать страницу? Даже самый неспособный!

— Допустим...

— А от тебя требуется... сколько у нас осталось? Сто восемьдесят три? А до срока триста двенадцать дней. Есть вопросы?

После такого урока арифметики вопросов не возникало. Поворчав, Иваньшина успокаивалась и опять с утра усаживалась за стол. Писала, вычеркивала, исправляла, добавляла, рвала страницу, но дело медленно продвигалось. А как-то открылась дверь, и вошла светленькая, довольно рослая девушка с волосами до плеч, стареньким рюкзаком и новеньким чемоданом.

— Здравствуйте, это я.

— Тонечка? — заулыбалась Иваньшина. — Ну я тебя где угодно бы узнала: вылитая мама!

Стали жить вчетвером, уже реально, тревожно и нетерпеливо ожидая пятого. Как все нерожавшие женщины, Иваньшина любила давать советы беременным, точно знала, как им полагается себя вести, и строго блюла их режим. Возможно, это было бы тягостно, но Алла

искренне любила свою тетю Тоню, тетя Тоня любила свою Аллу и ворчала на нее с таким открытым беспокойством, тревогой и озабоченностью, что Алла все ей прощала, хотя порою — когда не было Олега — и выдавала капризы.

— Боюсь! Первого рожать не боялась, а второго боюсь.

— Не бойся, это все естественно, — важно говорила Иваньшина. — Ты для этого на свет родилась.

А так все шло своим чередом. Алла хрустела солеными огурчиками, Антонина Федоровна писала и рвала, рвала и писала, Олег где-то раздобывал старые телевизоры, перебирал, перепаивал и регулировал их, допоздна засиживаясь на кухне, а Тонечка, которую все сразу же окрестили Маленькой, усердно готовилась к экзаменам. Она выглядела тихой и послушной, но Иваньшина, сразу же оценив ее крепкую фигурку, озабоченно хмурилась, по себе зная, какие могучие силы бушуют сейчас во вчерашней десятикласснице. И даже поделилась своим беспокойством с Аллой.

— Я так скажу, что если у нее был парень, то нечего нам волноваться. А вот если не было никого, тогда хуже. Тогда, тетя Тоня, голова у нее не на месте.

Но пока Тонечка Маленькая корпела над учебниками, вовремя являлась домой и ни о чем, кажется, не думала, кроме института. Но Антонина Федоровна беспокоилась не за сегодняшнее ее состояние, а за завтрашнее поведение, считала дни, какие остались до экзамена, и писала еще медленнее. Больше рвала, чем писала, хотя стопочка отпечатанных листочков росла и росла. И Иваньшина любила взвешивать эту стопочку на ладони.

Но все кончается, кончилось и нетерпеливое ожидание. Тонечка Маленькая весело и отчаянно ревела от счастья, Олег купил торт, Алла подарила новой студентке колечко, а Антонина — фирменные джинсы, которые лишь финансировала, а доставал Олег. На джинсах настояли соседи, а сама Иваньшина поначалу была решительно против. Но ее уговорили, и правильно сделали, поскольку вопль Тонечки Маленькой был столь восторженным, что все засмеялись.

— Штатские! Товарищи! Настоящие! Штатские!

— А ты думала, военные тебе подарим? — улыбнулась старший лейтенант Иваньшина.

— Ой, тетя Тонечка, ничего-то вы не понимаете!

Свежеиспеченная студентка чмокнула Аллу, поцеловала Иваньшину, церемонно пожала руку Олегу и умчалась примерять подарок. Все еще улыбались, когда вошла чрезвычайно довольная и гордая студентка.

— Как влитая!

— Аж к телу прилипли, — шепнула Алла Антонине Федоровне. — Хороша девочка. И знает ведь, чертовка, что хороша!

— Ох!.. — вздохнула бывший командир роты. — До чего же с мужиками и проще и легче.

Но опасения ее (по крайней мере, поначалу) оказались преждевременными. Тонечка осталась маленькой и в институте: вовремя возвращалась домой, дружила с тихими и аккуратными девочками, всегда говорила, куда идет и когда вернется. Даже Алла, в то время уже с напряженной осторожностью носившая живот, сказала:

— Уж такая наша Тонька скромница, аж жуть.

— Почему жуть?

— В тихом омуте, тетя Тоня...

— Брось! — резко оборвала Иваньшина. — Знаю, тяжело тебе сейчас, но потерпи. А злой становится — последнее дело.

— Я не злая, — вздохнула Алла. — Я вас люблю, тетя Тоня.

Что скрывалось за этой фразой, она не стала уточнять, а Иваньшина не стала допытываться, но почему-то заплакала. Она очень боялась за Аллу, хотя врачи утверждали, что все развивается нормально, и плакала сейчас от этого страха и еще — от жалости: ее разбитое, непослушное, будто чужое тело невольно заставляло все время думать, что роды — смертельно опасный акт.

А они прошли легко и быстро: Алла вскрикнула в одиннадцать — только телевизор на кухне выключили, а родила через полтора часа.

— Шустрый мальчонка! — улыбался Олег, — Без задержки, понимаешь, на свободу рванул!

Вопреки обыкновению он в ту ночь пил цинандали в одиночестве. Обе Тони — Большая и Маленькая — хлопотали вокруг, кормили, угощали, подкладывали. А он мотал счастливой головой и улыбался:

— За сына — выпил, за маму — выпил, а за тебя тетя Тоня? А за тебя, Маленькая? А за всех нас? За наш мир, за наш дом, за нашу семью и за нашу кухню, где так вкусно кормят кадровых детдомовцев!

Вскоре счастливый папа привез Аллу с младенцем, и начались обычные неприятности. То у Аллы пропало молоко, то у малыша заболел животик, то с трудом резались зубки, то еще что-то. И все ходили невыспавшиеся и очень довольные.

Маленький Валерий Олегович уже начал бродить по кровати, цепко держась за перильца, когда названная бабка его навсегда утратила способность стоять на собственных ногах: они больше не слушались ее, не держали, подламывались, будто стали чужими. До этого она хоть как-то передвигалась, опираясь на две палки попеременно и раскачиваясь всем телом; на жестком стуле ей сидеть стало трудно (очень уж начинала ныть поясница, прямо как застуженный зуб), и Олег купил в комиссионке кресло: старое, пухлое и очень уютное. Она любила сидеть в нем: работала над книгой не столько о себе, сколько о погибших друзьях, читала, вязала и ждала Тонечку Маленькую. А Тонечка ранней весной не вернулась из института.

— Тетя Тонечка, я позже приду сегодня! Я у подружки заниматься буду!

Прокричала две фразы в телефон и повесила грубку, чтобы никто ни о чем не спросил. И исчезла до утра.

— Тетя Тонечка, доброе утро, я в институт побежала! Ты не сердись, я у Наташки ночевала, а у нее телефона нет!

Опять ровно две фразы, и опять — отбой, чтобы ничего не объяснять. И действительно побежала на лекции, а Антонина Федоровна, всю ночь просидевшая в кресле рядом с молчавшим телефоном, хотела встать — и не смогла.

— К несчастью, это необратимо, — тихо сказал Алле врач. — Предупреждали ведь, чтобы никаких волнений...

Взбешенная Алла надавала Тонечке Маленькой по щекам. Тонечка ревела и умоляла простить ее, Олег с нею больше не разговаривал, но Антонине Федоровне легче от этого не стало. Студентка искренне убивалась, стремглав мчалась после лекций домой, ухаживала, как могла и умела, и все время проклинала себя за эксперимент, сознаться в котором, правда, так и не решилась.

А эксперимент заключался в том, что Тонечка вместе с двумя подружками поехали на дачу к одному из старшекурсников. Там была музыка, свечи, вино, камин, трое интересных молодых людей, умные разговоры и в конце концов — постель. Правда, Тонечка легла одетой (только платье сняла, чтобы не мялось) и выдержала характер, измучив и себя и соседа. Она впервые проводила ночь с мужчиной, которому ничего не позволила, и ей было так прекрасно и так страшно, что она напрочь забыла обо всем на свете. И ведь ничего с «тем» не было, ничего решительно, а расплата оказалась невыносимо жестокой. И Тонечка страдала вдвойне именно потому, что ей не в чем было покаяться.

— Ничего, — старательно улыбалась Антонина Федоровна. — Зато усидчивости прибавится, глядишь, и впрямь книжку закончу.

Она хорохорилась из последних сил: потеря ног тяжело ударила по ней прежде всего потому, что сделала ее совершенно беспомощной. Впервые в жизни она зависела от других людей, причем посторонних, какими бы любящими и прекрасными они ни были. Длинными ночами (господи, она ведь и не догадывалась, насколько же бессонная ночь длиннее дня!), слушая тихое посапывание Тонечки Маленькой, Антонина Федоровна часами глухо рыдала в подушку, несколько раз до отчаяния, до приступа физической боли жалея, что теперь уж навеки лишена возможности подползти к дряхлому комоду, выдвинуть верхний ящик и

достать из-под кучи старых писем, газет и документов безотказный, хорошо вычищенный «вальтер». И даже не слышать выстрела: она слишком долго воевала, чтобы промахнуться в решающий момент. И еще с болью, с горечью, с яростным презрением к себе думала, почему же она не сделала этого раньше, пока еще могла хоть кое-как передвигаться. «Надеялась? На что ты надеялась? Что вылечат? Что ноги заново отрастут? Что кто-то замуж возьмет каракатицу безногую?.. Нет, просто дрейфила ты, Тонька. Сознайся же, что просто боялась, что до последнего предела ждала да выжидала, что чудо высиживала, дерьмо трусливое. Ну вот он, твой предел. Дождалась чуда. А дальше? Что дальше-то? Тимуровцы с батоном под мышкой?..»

Пока Иваньшина не спала ночей, пока терзалась и беззвучно рыдала, привыкая к новому своему положению, Олег тоже ждал. Правда, не по собственной инициативе, а по совету фронтовика-невропатолога, к которому сразу же бросился за помощью.

— Кресло на колесах — не проблема. Проблема, чтобы она на этом кресле в ваше отсутствие к окну не подрулила. Какой у вас этаж? Второй? Ей достаточно.

— А что делать?

— Ждать. Просто не торопить событий: ко всему человек привыкает.

Пока решались эти психологические проблемы, Антонина Федоровна решала проблемы свои. Как-то незаметно, сподволь, продолжая еще горько размышлять о собственной беде, Иваньшина начала все чаще думать о Тонечке Маленькой. Она не таила против нее ни малейшей обиды, но, как и в случае с Трошиной, очень хотела уяснить причины, выстроить для самой себя логику девичьего поведения в ту злосчастную ночь. Оказывается, для того чтобы хоть как-то существовать, ей позарез необходимо было оправдать того, кто послужил вольной или *невольной причиной ее несчастья*. Понять молодых, во что бы то ни стало постичь причинно-следственную цепочку их поступков, шкалу ценностей, этику поведения — вот какую задачу ставила она, без всяких, впрочем, формулировок, потому что и в этом состоянии продолжала ощущать себя командиром и директором, то есть вечно ответственной за чужие грехи.

Естественно, она не поверила ни в какую Наташку не только потому, что имела большой навык школьной работы, а прежде всего потому, что оставалась женщиной и ясно представляла, сколь нуждается в жизненном опыте юная Тонечка Маленькая. В том опыте, который не может передать ни мама, ни семья в целом, ибо его приобретают не с чужих слов, а из собственных действий, из личных побед и поражений, удач и неудач. Обычно это происходит в среде сверстников, но для Тони этот путь оказался практически исключенным, потому что Тонина мама Валя Лыкова (ныне Прохорова) была не просто учительницей, но и классным руководителем в той самой школе и в том самом классе, в котором Тоня росла и развивалась, превращаясь из девочки в девушку, согласно всем законам естества.

Согласно этим законам, Тонечке еще в школе надлежало влюбиться, ревновать, страдать, реветь от счастья и задыхаться от ненависти. Именно там испытываются силы и бессилие, твердость и гибкость, вырабатывается чувство дистанции, мера дозволенности и границы собственной смелости. В школе юность проходит свою первую «школу»; это естественно и закономерно, но как раз-то этой естественности Тонечка и была лишена, поскольку постоянно пребывала на маминых глазах. Закономерность познания оказалась нарушенной, и Тонечке, вполне созревшей и сложившейся к пятнадцати годам, пришлось загонять свою природу внутрь и научиться скрывать, что эта самая природа пенится и бродит в ее душе. Дисгармония росла, Тонечка мечтала не о том, о чем рассказывала маме, и рассказывала не о том, о чем мечтала, не потому, что стала лживой, а потому, что была вынуждена жить не по естеству, а по законам предлагаемых обстоятельств. «В разведку сбежала, — усмехалась про себя Антонина Федоровна. — Ну что же, девятнадцатый год девочке, и все естественное прекрасно...»

Начав с размышлений о Тонечке, Иваньшина незаметно перешла на думы о молоденьких девушках вообще. Она не разделяла мнения некоторой части своих коллег о якобы присущей нынешней молодежи определенной расхлябанности; она словно смотрела на юных с другой стороны и подмечала прежде всего уровень их развития, чувство собственного достоинства, широкую информированность. «Нынешняя молодежь стала интеллигентнее» — так определила она для себя разницу между военной молодостью и молодостью сегодняшнего дня. И тут же вспомнила, как почему-то нападала на интеллигенцию и как обижался

лейтенант Валентин Вельяминов. И сырой подвал, и картошку в мундире, и кусочек сала, сбереженного для него. А он съел и не заметил... Неправда, заметил. Все он замечал, потому что был замечательным. Может быть, замечательным называется человек, который замечает окружающих? Часто ли обычные люди замечают своих попутчиков, соседей, даже сослуживцев? Увы, нечасто, ох как нечасто! Вот потому-то порою и слышишь о современной молодежи: они такие, они сякие, длинные волосы, брюки вместо юбок и прочий вздор. А они, сегодняшние, просто-напросто свободнее нас, вчерашних. Свободнее, раскованнее, естественнее — и это мы им дали свободу. Там, на залитых кровью полях Великой Отечественной. Что сказала на том злосчастном педсовете Трошина, когда ее исключали из школы? «Мы не другие, мы новые, понимаете? Вы старые, а мы новые. Новые!..» Кажется, так? Да, да, именно так: «Мы новые». И это абсолютно верно: они действительно новые. Качественный скачок, оплаченный нашими жертвами. Кровью, болезнями, голодом и холодом всего народа. Вот что следует непременно проследить в книге: рост новых людей, новой поросли нашей страны. А ты о собственном героизме талдычила. К черту, все переделать заново!

Вечером она потребовала бумаги и карандашей: писала, лежа на спине, и шариковые ручки при этом не работали. И писала, писала, писала, забывая о сне и еде.

— Пишет! — с восторгом сообщил Олег доктору.

— А я что говорил? Теперь смело можете предлагать ей кресло на колесах.

Через некоторое время обезножившая Антонина Федоровна получила каталку, дававшую ей хоть какую-то возможность не только перемещаться, не только хоть как-то обслуживать себя, но и в меру сил помогать стихийно сложившейся коммуналке, когда уже не могла писать от усталости. И возможность эта появилась в то время, когда все мысли о «вальтере» в комодке уже были передуманы, пережиты и отброшены навсегда. Антонина Федоровна Иваньшина, покопавшись, вновь отыскала в себе силы и смысл жить дальше.

— Вот тебе персональная машина, тетя Тоня.

Несмотря на слезы (плаксивая стала Иваньшина, что уж тут поделаешь!), на безмерную благодарность, Антонина Федоровна подсознательно запомнила эту фразу. Три дня осваивала кресло, привыкала, приспособливалась, вновь обретая свободу, а фраза сидела где-то в глубинах и вынырнула вдруг. И зазвучала в голове, и уж не отпускала, что бы Иваньшина ни делала и куда бы ни ехала: к Валерику или на кухню, в общую ванную или в свою комнату. Антонина Федоровна мусолила ее и так и эдак, вспоминала интонацию, взгляд, с которым произнес ее Олег, и наконец, как ей показалось, поняла. И когда никого не случилось дома, позвонила бывшему военному, а ныне крупному работнику горкома партии.

— «Москвич» тебя устроит? — без вопросов спросил он. — Инвалидный, с ручным управлением. Ну все, готовь документы, курьера пришлю.

— Только пусть твой курьер сперва мне позвонит. Не хочу, чтоб соседи до времени знали.

В следующем квартале Антонина Федоровна получила через райсобес инвалидный «Москвич» с ручным управлением. Узнала она об этом днем, упростила прислать нотариуса, и вечером, обмирая от счастья, положила перед Олегом документы на машину и доверенность.

— Катай нас.

А он долго ничего не мог сказать. Разглядывал документы, сопел, ниже обычного склонив голову, а когда поднял ее и впервые улыбнулся, Антонина Федоровна увидела слезы на глазах.

— А может, ты и вправду мама моя, тетя Тоня?

Да, если бы не инвалидная коляска — совсем бы современная идиллия. Нежно и уважительно относясь друг к другу, пять человек жили воистину душа в душу, хотя на все пять душ имели две комнаты со столь крохотной общей площадью, что жить можно было только плечо к плечу, только постоянно ощущая друг друга локтем, помогая друг другу и уважая друг друга. Почти повсеместно изжившее себя братство коммунальных квартир существовало в самом центре областного города на втором этаже деревянного дома, кое-как отремонтированного саперами в победном сорок пятом. Но сколь бы ни прекрасно рисовалось это коммунальное братство, люди жили в постоянно напряженном поле, ибо келий было всего две на пятерых, а человек нуждается в одиночестве куда больше, чем в

компании, даже если компания эта — почти родная семья. Вот почему Олег все чаще и чаще начинал разговоры о переселении, которых Антонина Федоровна не просто избегала, а очень боялась и, отшучиваясь, сколько могла, уходила... то есть уезжала к себе, когда иссякал запас юмора. И там, за закрытой дверью, часто плакала, давясь слезами и не решаясь громко вздохнуть. И Алла всегда недовольно выговаривала Олегу:

— Не смей ее обижать, слышишь?

— А жить-то как? — шепотом спрашивал он. — Ну как, ну объясни.

— Да уж как-нибудь, — осторожно вздыхала жена. — Только не за чужой счет: ведь пропадет она без нас, Олежка.

— Вот я и бьюсь над тем, чтобы вместе с нею. У юристов был, в горисполкоме интересовался. Обещают, но либо ждать неизвестно сколько, либо микрорайон, куда один трамвай два часа ходит. Тебя устроит трамвай? А садик для Валерика? А работа — твоя и моя? Или ее тоже на микро сменим? А телефон? Ну и наконец мелочи жизни: врачи, поликлиника, медпомощь без всякой волокиты, аптеки и тепе и теде. Стало тете Тоне хуже — гарантия, что через десять минут «неотложка» примчится, потому что ее тут все знают. А в том микрорайоне кто к ней примчится? Участковый врач на попутном самосвале?

— И все-таки надо подумать, Олежка.

— Вот я и думаю. — Он помолчал. — На углу Гвардейской кирпичный домище строят, видела? Первой категории, по спецпроекту, я узнавал. Но шансов попасть туда у нас нет, потому что радиозавод для себя его строит, для своих работников. Вот если бы землетрясение случилось и рухнули мы, тогда бы другое дело. Тогда по линии несчастного случая. Четырехкомнатную, понятно, не дадут, но там и трехкомнатные — как две наших. С холлом, со встроенными шкафами, кухня — двенадцать метров, две лоджии — хоть на велосипеде гоняй.

В последнее время Беляков, заводил осторожные разговоры о новых квартирах если и не чаще, то настойчивее, что остро ощущала Антонина Федоровна. Он словно готовил ее к чему-то; она считала, что готовит он ее к неминуемому расставанию, и рыдала ночами. Гибелью считала она это неминуемое расставание, смерти оно для нее было подобно, и беспомощная Иваньшина страдала беспомощно и невыносимо. Настолько невыносимо, что однажды ночью подъехала на своем заботливо смазанном и абсолютно беззвучном кресле к комоду, вытянула верхний ящик, нащупала под газетами «вальтер» и осторожно достала его.

Вот он, спаситель, боевой товарищ, столь же заботливо ухоженный ею, как ее инвалидная коляска Олегом. Антонина Федоровна беззвучно оттянула затвор, вогнав патрон. Оставалось поднести и спокойно, плавно, неторопливо нажать спусковой крючок...

А Тонечка Маленькая вдруг всхлипнула за ее спиной, завздохала, даже захныкала, будто ребенок. Может, приснилось ей страшное, может, о маме вспомнила, может, просто пожалела, что не позволила тогда ему ничего — кто их, девочек, поймет? И Антонина Федоровна тихо положила пистолет на место. Чуть скрипнула тугим ящиком комода и поехала к своей кровати, на которую приловчилась переваливаться с кресла без посторонней помощи.

Дом на Гвардейской строился медленно, но рос, и этот его неумолимый рост очень заботил Олега. Путь на работу пролегал мимо стройки, два раза в день Олег видел ее, точно знал, сколько кирпичей положили за смену, и заметно терял столь свойственное ему ровное расположение духа. Журавль в небе вот-вот должен был улететь в чьи-то неведомые руки...

А потом просветлел, заулыбался, как прежде, и вечером с глазу на глаз сказал Алле:

— Есть вариант. Слабенький, но, знаешь, вполне реальный.

— Это ты насчет дома?

— Это я насчет того, чтобы нам с тетей Тоней не расставаться. А вариант такой: наш дом признают аварийным, срочно ставят на капитальный ремонт, а нас временно переселяют в тот, что на Гвардейской.

— А если совсем не туда?

— Надо организовать. Понимаешь, фокус в том, чтобы въехать нам всем дружно в него до официального заселения. Ход реальный, если нас признают аварийщиками: Иваньшина —



героиня войны, инвалид, ее в горьком знают. Словом, задача требует решения, и я уже кое-что начал.

— Что ты начал?

— Я жалобу управдому подал, что у нас вся электропроводка в недопустимом состоянии. А копию — пожарникам: теперь они друг друга контролировать начнут изо всех сил. Так что если комиссия придет, а меня не будет, ты должна сказать, что у нас все искрит, греется и вот-вот закоротит.

Комиссия пришла, когда дома оказалась одна Иваньшина. Это случалось редко, потому что Беляковы старались не оставлять дома больную с малым ребенком. Правда, Антонина Федоровна уже ловко управлялась с креслом, но вставать с него не могла, а только сваливалась в кровать, откуда без посторонней помощи не поднималась (ее каждое утро пересаживала в кресло Алла). Олег сделал ползки, чтобы коляска могла переезжать через порожек, но с ними дверь не закрывалась, и если Антонина Федоровна работала или отдыхала, их не ставили. А тут Алле срочно понадобилось в магазин, и она умчалась, прокричав, что уходит ненадолго и дверь запирается не будет. И почти сразу же появилась комиссия.

Собственно, это была еще не комиссия, а скорее совместная разведка: управдом да представитель от пожарной охраны. Управдома — пожилую, вечно озабоченную вдову — Антонина Федоровна знала давно, да и пожарник оказался человеком солидным и основательным.

— Печальный домик, — сказал он, оглядевшись. — Проводка времен царя Гороха: сигнал правильный. Без капитального ремонта тут никак не обойтись.

— Двенадцать квартир — это же двадцать семей, не меньше, — вздохнула управдом. — Ну составим мы акт об аварийном состоянии, а где их всех разместить? Тут не то что рай — тут горисполком за голову схватится. А выселять необходимо.

Они о чем-то спорили — Иваньшина не слушала. Тоскливый безнадежный ужас вдруг охватил ее: предстояло куда-то переезжать, предстояло расставание с Валериком, Аллой, Олегом, предстояло где-то как-то пристраивать Тонечку Маленькую. Капитальный ремонт, срочное выселение — куда придется, как придется, во всякие и, главное, в разные стороны — это была новая трагедия, которую требовалось освоить, осознать, понять, привыкнуть к ней. На все нужно было время — а может, она просто оттягивала этим неминуемое расставание? — и Антонина Федоровна сказала:

— Нас — в последнюю очередь, если можно. Очень прошу войти в мое положение.

— Доложу, — согласился пожарный представитель. — Войду с предложением начать выселение с той половины дома, там, кстати, и провода хуже. Договорились, товарищ Иваньшина, живите пока спокойно.

Может быть, так бы оно и случилось, может быть, и жили бы они спокойно, если бы не подоспел май с длинными вечерами, с черемухой и соловьями, с непонятной тревогой и беспокойной бессонницей. И дело заключалось совсем не в том, что у Тонечки Маленькой началась сессия, а в том, что было ей девятнадцать, все в ней вызрело и налилось и все-все, все вместе настойчиво требовало повторения первого опыта. С решительной поправкой: результат должен был стать иным, иначе Тонечка могла потерять не только покой и сон. Все в ней было настроено для прекрасной песни, но могло навеки рассыпаться и лопнуть. И струны и ноты: так ей казалось, и так оно и было на самом деле.

Но до того, когда и вправду все рассыпалось и лопнуло, еще оставалось время. Антонина Федоровна рассказала Олегу и Алле о комиссии и о своей просьбе; Олег ничем не выказал своего крайнего разочарования — именно эта просьба и сводила на нет все его далеко идущие планы, — но решил действовать куда более энергично и уж теперь ни под каким видом не посвящать женщин в свои намерения. А пока катал по субботам и воскресеньям Иваньшину и Валерика по улицам и за город, каждый раз вынося Антонину Федоровну на руках до машины и внося на второй этаж по возвращении домой. И каждый раз Антонина Федоровна очень смущалась, сердилась и ворчала:

— Ну к чему это, к чему? На руках таскаешь, будто...

— Будто мамочку, — улыбался Олег.

А больная, изувеченная войной, землей и осколками, парализованная женщина, обнимая рукой крепкую шею, заходила от небывалого счастья и небывалой нежности всякий раз, когда он брал ее на руки, испытывая порой такое волнение, что приходилось сваливать все на духоту: — Тащил ты, а задохнулась я. Это от жары. Душно сегодня.

— А может, ты и вправду моя мама, тетя Тоня? Ну, признайся, нам же обоим легче будет?

Странное дело: именно тогда Антонина Федоровна все чаще начала задумываться о своей юности. Не о ее героических деяниях, не о ее страданиях и жертвах, а о ее счастье, которое невозможно ни заменить героизмом, ни затмить жертвами. Как детство немыслимо без игры и удивлений, так юность немыслима без любви и надежд. Даже там — не на фронте вообще, а в окопах конкретно, где смерть закономерна, как закономерна жизнь вдали от этих окопов, — даже там неистово любили свою незаконномерную, будто по лоторее выигранную жизнь и неистово надеялись, что выигрыш этот непременно падет на тебя. На это опирался знаменитый фронтовой оптимизм, без которого не только стране, командиру взвода не выиграть своего личного боя за три бревна через безымянный ручей.

Было у нее такое сражение за три бревна. Было. В марте, когда днем таяло, а ночью подмерзало, когда снега пропитались водой и люди проваливались до земли.

— Приказано нам на тот бережок, Тонька. Речонка, конечно, название одно, однако — препятствие. Твое направление атаки — отдельный куст, видишь? Перед рассветом по свистку...

— Можно пятьдесят метров левее взять, товарищ старший лейтенант? Там мостик в три бревна сохранился, снегом его запорошило. За полчаса до атаки троих с ручником вышлю, чтоб прикрыли во время переправы, а солдат — по бревнам.

— Мудришь, Антонина. Смысла не вижу.

— Снега больно рыхлые, ротный. По пояс проваливаешься.

— Бойцов простудить боишься?

— Застрять боюсь. Завязнут ребята в каше этой: снег и ноги не держит, и ступить не дает. Забуксуем в низинке, а ну как немец минами забросает?

При ручном пулемете пошел пожилой боец: как звали-то его? Господи, забыла, а только помнится почему-то, что погиб он возле тех трех бревен. При нем вторым номером — парнишка-ярославец и один автоматчик. Лихой парень: недавно из госпиталя во взвод прибыл и сам в прикрытие напросился.

— Разрешите, товарищ лейтенант, за второй медалью слазить?

Дерзко спросил, с огоньком. Глянула: глаза синие-синие. Ну, будто нарочно покрасил кто.

— Как фамилия, ефрейтор?

— Ефрейтор Середа! — улыбнулся вдруг и уточнил, как на танцах: — Василий.

Знала ли тогда, что то первая любовь ей улыбалась? Нет, она другое знала: по свистку перед рассветом. Но наверно почувствовала, потому что никогда так отчаянно не бежала в атаку, никогда так твердо не была уверена, что сегодня ее не тронет. Сегодня не тронет, не смеет тронуть: уж больно глазищи у парня синие. Будто нарочно покрасил, чтоб девчонок с ума сводить.

И зачем она тогда военврача упросила? Рос бы сейчас синеглазый Васильевич или Васильевна. И была бы ты, Тонька, и в самом деле и мамой и бабушкой, и не было бы счастливее тебя на всем белом свете, но разве молодость думает о собственной старости?

А рос бы сын или дочь. Васильевичи.

Книжка была почти закончена, когда совсем иные воспоминания вдруг обрушились на Иваньшину, лишили сна и покоя, причем те, далекие времена, времена ее юности, теперь все чаще сталкивались в ней с относительно недавним прошлым. Порою Антонина Федоровна отчетливо видела торжества в собственной школе — юбилейные и неюбилейные: пионерские сборы, треск барабанов, бойкое перечисление подвигов и героев — и пустые глаза детей, куда более занятых формой торжеств, чем их сущностью. Как-то она задержалась по своим директорским обязанностям, опоздала на встречу с ветераном и села не на сцене, как всегда, а в зале, сзади, за мальчишескими спинами. И почти сразу же расслышала:

— Во дает дед, — насмешливо прошептал красивый, чистенький, ухоженный мальчик. — Одной гранатой всех немцев перебил.

— Как в кино, — угодливо подхихикнул упитанный сосед.

Тогда она привычно одернула ребят, и они сразу же замолчали, но сейчас ей было не по себе от их послушного молчания. И дело заключалось не в том, что в тот раз и вправду ветеран оказался чрезмерно хвастливым; дело было в скрытом недоверии к подвигам вообще. «Почему? — спрашивала она себя и тут же отвечала: — А потому, что перекормили. Количество героической информации вдруг перешло в качество — только не в то, на которое мы рассчитывали. Исчезла искренность подвига, его порыв, боль, цена — и осталось голое перечисление. Остался реестр, длинный и нудный списочный перечень: кто, что, где и когда. Мы девальвируем собственную героическую историю: Герасим утопил собачку, и полтора года лет рыдают над нею потрясенные дети, а мы без конца толкуем о двадцати миллионах погибших — и встречаем отсутствующие глаза. А они должны гореть и страдать, иначе и за перо браться не стоит...»

Очередная перекройка почти готовой книжки была наиболее быстрой и беспощадной: Антонина Федоровна решительно выбрасывала примеры хрестоматийного, набившего оскомину героизма. Вместо отвлеченного читателя она старалась все время представить себе такие знакомые, такие привычные юные лица, она стремилась заинтересовать их, заставить поверить не в подвиг, как таковой, а в его значимость, в ту затрату сил, которых требовал каждый час обыденной каждодневной окопной жизни...

«...На другое утро после той перестрелки, в которой тяжело ранили командира роты, случилось затишье, и комбат повел меня представляться командиру полка подполковнику Зотову Илье Харитоновичу.

— Лейтенант Иваньшина зарекомендовала себя толковым взводным, товарищ подполковник. Думаю, что командиром роты будет геройским.

Илья Харитонович был, по тогдашним моим представлениям, весьма даже стар, и я очень его боялась. И так тянулась, что стала вся красная. А он взял да и по щеке меня погладил. И сказал то, что я на всю жизнь запомнила:

— Знаешь, в чем командирский героизм, лейтенант? Первое: чтоб твой боец хотя бы разочек в сутки горячего похлебал — пусть из расчета котелок на двоих. Второе: чтоб твой боец хотя бы четыре часика в сутки лежа поспал — пусть в шинели и с винтовкой в обнимку. И третье, чтоб он, боец твой, всегда верил, что за спиной его — полный порядок: мать здорова, дети сыты и жена с другим не спит. А для этого надо о каждом бойце все знать. Кто он, откуда, чего ждет и о чем думает. Если все соблюдешь — при всех героем назову...»

Этот отрывок она вписала вместо пространного рассказа о том, как лично провожала полковых разведчиков через ей одной известную лощинку, как сутки пролежала в сугробе в пяти шагах от немецких окопов, пока разведка не вернулась. На рассвете, лощинку надежно скрывали тени, утренники стояли солнечные и морозные, и про то, на сколько минут немцы теряют ту лощинку из виду, во всем полку знала только она, командир взвода, по часам изучавшая движение всех теней в секторе своего наблюдения. За безопасный маршрут, за ожидание своих у немцев под носом и короткий бой при отходе, когда все же потревожили противника, ее наградили солдатской медалью «За отвагу», и по этой причине Иваньшина заменила отрывок разговором с командиром полка. Из двух принципиально различных точек зрения — «Героизм есть исключительность» и «Героизм есть повседневность» — Антонина Федоровна ныне решительно выбирала вторую.

Этот вариант отвозил в издательство Олег. Рыженькая редакторша там уже не работала, и к Антонине Федоровне вскоре явилась ощутимо траченная временем ученая дама. Смачно бросила на стол рукопись и бережно — редакторскую папочку с аккуратно приклеенной бумажкой: «ИВАНЬШИНА А. Ф. „ФРОНТОВЫЕ ДНИ И НОЧИ“. Творческая заявка».

— Что же это вы с нами делаете, Антонина Федоровна?

Вопрос звучал риторически, но тон его был полон непонятной обиды. Иваньшина молча ждала разъяснений. Посетительница — то ли редактор, то ли литконсультант — развязала папку, извлекла листочек.

— Мы заключали договор на ваши воспоминания о войне под условным названием «Фронтовые дни и ночи». Заявка содержит обещание поделиться с нашей молодежью

уникальностью вашего опыта, а что мы получили в рукописи? Ваша фронтовая жизнь и деятельность показаны в следующем ракурсе. — Дама нацепила очки, бойко зашелестела раздраженно исчерканными карандашом страницами. — Вот, пожалуйста, аборт. Убит любимый Вася. От страха при атаке ваша героиня — то есть вы, извините, мочитесь прямо в юбке. И ни одного военного эпизода, характеризующего командира... э-э... взвода, кажется?.. как действительно героическую личность. Так в чем же заключается уникальность опыта, что мы поведаем молодежи?

— Правду.

— Какую правду, какую? О том, как писают от страха? Кому это надо? Нет уж, пожалуйста, приведите нам хотя бы один положительный пример, который бы... который... который...

Нет, Антонина Федоровна не оглохла: шум в ушах вдруг все заглушил. И перехватило дыхание: не в спину ударило, как обычно, а впервые стиснуло грудь, тупой тяжелой болью отдалось в сердце, и воздух застрял в горле, не желая лезть внутрь, в легкие. «Это у вас они — легкие, — говорил старый военком, — а у меня — как свинцовый сурик». Вот и она узнала, что значит, когда легкие — «как свинцовый сурик»: широко разевала рот, закидывая голову, пыталась зевнуть, чтобы хоть зевком, силой чтоб протолкнуть глоток воздуха в судорожно зажатые легкие. «Героизм вам положительный? — отрывочно продолжала думать она. — А когда на тысячи солдат одна девчонка, это как, не героизм? А спать в землянке три на четыре среди двух десятков грязных, потных, усталых, вонючих, завшивевших с окопной тоски мужиков — тоже не героизм? А по нужде куда бежать, когда кругом — поле чистое, а до ближайшего сортира — полста верст?.. Эх вы, указчики, чистенькие да надушенные: вас бы туда часа бы на четыре — в то реальное, окопное, грязное, вонючее, пехотное, где вши и крысы, где трупы в трех шагах разлагаются, а рядом — ровики, полные дерьма, а воды — снегу котелок, а смену только через полмесяца обещали, да и то если маршевая рота подойдет, а бани нет и не будет, и неделями снегом умываешься — тоже не героизм?.. Эх вы, гладкие, не клевал вас петух...» Но она не смогла выдавить из себя ни единого слова и, разинув рот и серея на глазах у знатока героического, начала медленно рвать листы собственной рукописи...

— Что вы делаете? Что вы... Помогите же, помогите!

На счастье, дома оказалась Алка. Сунула Антонине Федоровне нитроглицерин, что купил предусмотрительный Олег, решительно выпроводила специалиста по героике и отобрала рукопись. Иваньшина вскоре отдышалась и отлежалась. Олег склеил разорванные страницы, отвез работу директору издательства, все объяснил, попросил прочитать лично. Замечания оказались мелкими и конкретными. Антонина Федоровна быстро с ними справилась, и рукопись ушла в набор. До мая оставались считанные месяцы, все стремились отрапортовать к празднику Победы, и уже в марте книжка Иваньшиной вышла из печати.

— Ну вот, тетя Тоня, а ты боялась.

— Так ведь чем старше, тем боязливее, — отшутилась счастливая Антонина Федоровна.

Вторая половина дома — та, жильцам которой Иваньшина отдала право первой очереди, — опустела как-то незаметно. Жильцы переезжали дружно, но тогда, когда Олег бывал на работе; однажды, возвращаясь домой уже в сумерках, он был неприятно поражен темными окнами соседей. И снова с горечью и почему-то даже с обидой («Тут носишься, устраиваешь, и все вдруг гибнет от бабских капризов...») вспомнил, как провалила Антонина Федоровна его план, всю тщательно подготовленную, оговоренную в горсовете операцию по вселению в практически уже готовый кирпичный дом на Гвардейской улице. Выселяемых из аварийного дома жильцов расселили по новым микрорайонам, но за отсутствием свободных квартир их половину дома пока оставили, и весь Олегов замысел на этом этапе рухнул окончательно. Оставалось одно: разрабатывать новый план, заручаться новой поддержкой. Все требовало времени, заветные площади вот-вот должны были занимать законные владельцы, и Олег с отчаянием чувствовал, как уходит из рук последний шанс.

На следующий день он возвращался с работы нормально, еще засветло, и ноги сами занесли его на опустевшую половину. Печальное зрелище поспешного отъезда встретило его там: комнаты завалены мусором, рухлядью, поломанными вещами, накопленным и ставшим вдруг ненужным бархлам; лампочки вывернуты, а кое-где и срезаны вместе с патронами,

розетки частью вывернуты, частью разбиты, лишённые роликов провода, кое-где совершенно оголенные, свешивались со стен. Олег бродил из квартиры в квартиру, шурша обрывками газет, обоев, книг и журналов, думая о поразительной беспечности и безответственности съехавших: после нас — хоть пожар. В самом деле, опасность короткого замыкания, о которой предупреждал Олег домоуправление и пожарную охрану, лишь возросла с разездом жильцов: любая случайность могла сблизить оголенные концы проводки, могла вызвать искру, и тогда весь этот сухой как порох хлам и сор затлели бы, задымили, разгорелись бы и... «Вот уж тогда нам всем сразу квартиру выделяют, — с усмешкой подумал он. — Погорельцам в первую очередь, это — верняк, люди жалостливы...»

Конечно, следовало немедленно поставить в известность об этих оголенных проводах домоуправление, но Олег ничего делать не стал. Не то чтобы он непременно хотел пожара — он просто не хотел отказываться от такой возможности. Не его то была беспечность, не его ответственность, а судьба его и его близких могла решиться вдруг, как в сказке, огненным чудом могла решиться. «Надо побыстрее дачу снять, — подумалось ему. — Увезу всех, и пусть оно будет, как тому суждено. А если и вправду суждено, то с квартирой нам — верняк: героиню Великой Отечественной Антонину Иваньшину никто на улице не оставит, уж я по всем кабинетам побегаю. Тем более после того, как книжечка вам понравилась...» И, заметно повеселев после этого пожароопасного открытия, пошел домой. А во сне увидел пожар: Алка говорила, что очень радостно смеялся.

Сон оказался в руку: Иваньшиной в тот же день позвонили с киностудии имени Горького с просьбой уступить право экранизации. А вскоре известный режиссер прислал пространное письмо, в котором излагал свои соображения относительно сущности героического и очень хотел сам писать сценарий, но непременно после консультации с автором. Антонина Федоровна почему-то испугалась, но и загордилась как бы тайком от себя самой, и в результате взаимодействия этих двух чувств вечером объявила, что ничего делать не собирается. Алла и Тонечка Маленькая начали ее уговаривать, а Олег хмуро помалкивал. Иваньшина объявила свое решение для него по преимуществу, а потому и ждала, вяло отшучиваясь.

— Дачу я снял, — неожиданно сказал Олег. — Тебе, тетя Тоня, природа нужна. Когда этот режиссер приехать намеревается?

— Не знаю. — Она несколько растерялась, поскольку известие о даче было для нее неожиданным. — Он ждет моего ответа.

— Напиши, чтоб не позже мая. Кино — дело нужное, по одну тебя я в городе не оставлю.

— Считаешь, надо соглашаться?

— Непременно, — увесисто подтвердил он. — Твои героические дела требуют всесоюзного...

— Прекрати, — строго перебила Антонина Федоровна. — Не было у нас этого разговора, все, конечно.

И уехала в свою комнату, чтобы поскорее вытереть всплывшие слезы. Показалось ей или и в самом деле прозвучало в его тоне доселе никогда не звучавшее равнодушие? Может, показалось, может, и не равнодушие то вовсе, а озабоченность: ведь мужчина же он, ведь есть же у него свои дела, свои заботы. А что, если и впрямь надоела она ему смертельно вместе со своими болячками, докторами, колясками и прочими недугами?.. Она никак не могла понять, что же послышалось ей в словах Олега, промучилась всю ночь, а утром написала режиссеру, что ждет его не позднее конца мая.

Как и для каждого фронтовика, месяц май был для Антонины Федоровны Иваньшиной совершенно особенным месяцем. В нем было самое яркое солнце, самые звонкие птицы и самые красивые цветы. Антонина Федоровна всегда ждала этого месяца и великого своего праздника со жгучим нетерпением, хотя давно уже не ходила ни на какие встречи. Правда, ее не забывали не только тимуровцы: старые товарищи по прежней работе (однополчан в городе не нашлось) во главе с бывшим военкомом непременно заявлялись к ней хоть на часок, но даже если бы и не заявлялись, если бы и не приносили с собой шума и звона тех давно ушедших лет, Антонина Федоровна все равно считала бы этот месяц самым прекрасным месяцем года. И не только для себя, но и для всей квартиры («для всей

семьи», — как всегда говорила про себя Иваньшина): пекли пироги, готовили закуски, доставали заранее припасенные деликатесы, чтобы 9 мая радостно и торжественно поздравить свою тетю Тоню и себя с великим народным праздником.

Но в этом году счастливый май оказался иным. Весь апрель Олег был хмур и озабочен (особенно когда из соседней половины дома выехали жильцы), отвечал невпопад, грубил Алле, куда-то все время уходил, кому-то звонил, с кем-то секретничал, что-то улаживал. Нет, 9 мая он, естественно, взял себя в руки, и все было как всегда, но Антонина Федоровна уже так хорошо знала его, так чувствовала, так понимала и так любила, боясь признаться в этом даже в мыслях, что безошибочно отделяла искренность от обязательности. И даже спросила, не выдержав:

— У тебя что-нибудь случилось?

— У меня? — Он наигранно удивился. — Что ты, тетя Тоня! У меня полный хоккей, как говорится. Ну, дружно: «Этот День Победы порохом пропах...»

А не успели праздничные пироги доесть — заторопился на дачу. Алле велел отпуск раньше времени выпросить, Валерика из детсада забрать, а озадаченной Иваньшиной сказал:

— Обстоятельства диктуют, тетя Тоня, все потом объясню. Жди своего режиссера, за тобой пока Тонечка приглядит, я с нею побеседовал. У нее как раз сессия, будет дома зубрить.

— А может, ну его, это кино...

— Вот как раз кино нам — прямо позарез сейчас. — Он улыбнулся почти как прежде и пояснил: — Новоселье не за горами, оно денежек требует, а семья у нас одна. Одна, тетя Тоня, это уж навсегда.

И так он сказал, что Антонина Федоровна взлетела вдруг на седьмое небо. От небывалого счастья, от благодарности, от любви перехватило горло; она поспешно отерла слезы и молча погладила его по руке. И окончательно успокоилась, уже не замечая того, что их коммунальное братство затрещало по всем швам из-за появившихся вдруг тайн, недомолвок, умолчаний и растущей неискренности. Изощренной наблюдательностью обреченного на неподвижность человека, приумноженной на интуицию любящей женщины, Иваньшина замечала все, но то «все», что касалось Олега. Его озабоченность, его упрямство, его замкнутость, неискренность, растерянность и даже одиночество. Но ни о чем не расспрашивала, поскольку в душе ее, ни на миг не замолкая, звучали его слова, уже бессознательно приравненные ею к клятве: «Одна у нас семья, и это — навсегда». И, наблюдая только за ним, видя только его, совсем перестала замечать тихую и послушную Тонечку Маленькую, прилежно зубрившую конспекты накануне сессии. А следить-то как раз и надо было за нею, за девятнадцатилетней девчонкой, для которой месяц май ощущался не победным громом, а тревожным шепотом, как для всех девятнадцатилеток на всем свете и во все времена.

С той памятной ночи на даче до ужаса напуганная Тонечка Маленькая притихла, как мышонок. Вовремя уходила, вовремя приходила, посещала только библиотеку, театр да музей и только в компании девочек, весело рассказывала об институтских днях и горестно плакала по ночам. Соблазнов вокруг было великое множество, но она упорно гнала их от себя и побеждала, пока на ее пути не встретился *он*. Тот самый, который неприменным образом встречается рано или поздно каждой девушке, а когда встречается, все выученные правила, вложенные мамой аксиомы и нашептанные девичьи страхи разлетаются вдребезги.

*Он* — сейчас уже нет нужды называть его имя — был иногородним, учился в институте связи, жил в общежитии, подрабатывая мелким ремонтом, и не имел даже отдаленных знакомых, владеющих изолированным от мира пространством. Встречались в парке, в кино, в подъездах; теряли головы от первых прикосновений и уже ни о чем не могли говорить, потому что яростная сила рвала каждого в одиночку, требуя немедленно, сей же миг сложиться в еще более мощную общую силу. В судьбу Тонечки Маленькой впервые ворвалась любовь, все расцветив в душе, посеяв счастье и надежды, сладкие слезы и тревожные ожидания, тайны, недомолвки и даже обманы.

— Ты стала поздно возвращаться домой, девочка.

— Я? Мы занимались. С Таней и Оксаной. В библиотеке. И завтра тоже будем заниматься, потому что скоро сессия.

Ах, если бы Иваньшина не была так занята Олегом! Если бы хоть на пять минут забыла о нем и вслушалась, что бормочет на глазах краснеющая Тонечка Маленькая, как старательно она отворачивается, как замирает вдруг, позабыв перевернуть страницу столь тщательно изучаемого конспекта. Если бы знать, из скольких «Ах!» складывается одно «Ох»...

— Вот ключ, видишь? Нет, скажи, ты видишь ключ?

— Какой ключ? Зачем?

— Тонечка, родная, умоляю. Хозяева в отпуск укатили, а мне у них пол циклевать. Представляешь, какое счастье? Отдельная двухкомнатная!

— Но это невозможно. Невозможно! Ну что, что я дома скажу?

— Тонечка, это же впервые в нашей жизни. Первый раз мы будем вместе, никто нам не помешает. Целую ночь вместе, представляешь?

— Я не знаю, что делать, не знаю. Но я придумаю, слышишь? Я непременно что-нибудь придумаю.

Тонечка Маленькая ничего не смогла придумать, кроме одной фразы («Я сегодня у Оксанки всю ночь заниматься буду...») и вынужденного поступка, вызванного неосторожным замечанием Иваньшиной:

— Только звони. Слышишь, девочка? А лучше я сама Оксанке позвоню.

Тонечка обмерла: зачем, ну, зачем она сказала, что будет у Оксанки? Лучше бы — у Наташки, там телефона нет... Так она подумала и, уходя, незаметно вытащила вилку из телефонной розетки в коридоре.

А режиссер задерживался, переносил приезд с недели на неделю. В конце концов Иваньшиной надоела эта болтливая необязательность, она дозвонилась до режиссера и с былой решительностью поставила вопрос: либо — либо.

— Шестого, ну максимум восьмого буду непременно, — клятвенно заверил он. — Никаких «но» не может более быть, Антонина Федоровна.

Разговор этот происходил еще второго июня, но она держала его в секрете, собираясь обрадовать Олега приятной неожиданностью. Он не расспрашивал ее, где-то озабоченно крутился, что-то делал, а четвертого вдруг объявил, чтобы она немедленно собиралась на дачу. Мол, нечего ей здесь одной, ничего с Тонечкой Маленькой не случится, а там Алле трудно с Валериком, и вообще погода стоит как на заказ.

— Скажи, чтоб Тонечка твои вещи собрала. Завтра возьму на руки...

— Седьмого. — Антонина Федоровна, не смогла сдержать улыбки. — Раньше седьмого я никак не смогу, Олежка. Никак.

Он вдруг зачастил, закричал даже, не сдержавшись, но ей это было — как музыка. Улыбалась уже без удержу.

— Я не могу, не могу оставить тебя одну, тетя Тоня, пойми же, наконец. Ну не капризничай!

Чем больше он просил, орал, распаялся и сердился, тем упрямее становилась Антонина Федоровна. Ей хотелось довести его до ярости, до гнева, до резкой ссоры с нею; пусть он уйдет, отругав ее за упрямство, по-мужски хлопнет дверью, а потом... Потом, через каких-нибудь два-три дня, когда он, хмурый, все еще сердитый, придет за нею и возьмет ее на руки, она шепнет: «Все в порядке, Олежка, мы можем переезжать, я заработала кучу денег...» И вот во имя этой мгновенной радости, когда он весь расцветет, заулыбается, Антонина Федоровна и упрямилась в тот вечер.

— Ну зачем, зачем эти штучки? За Тоньку боишься? Да она здоровенная телка...

— Вот за телку и боюсь. Ты, я, он, она — вместе дружная семья.

Олег действительно хлопнул дверью, исчерпав терпение и аргументы, и Иваньшина засмеялась от счастья. Да, у нее была настоящая семья, в которой просят и ссорятся, улыбаются и хлопают дверью, умеют заботиться и злиться друг на друга тоже умеют. И это правильно, это и означает, что люди связаны не прохладной вежливостью, а горячей любовью.

Увы, все дело заключалось в крысах. В полчище крыс, то ли откуда-то переселившихся в пустую половину их дома, то ли расплодившихся там. Они шуршали в хламе, носились по

комнатам и грызли все подряд. Олег зашел проверить, как там с проводкой, и обомлел: вот они, реальные поджигатели. Любая серая тварь может запросто перекусить оставшийся под напряжением провод, замкнуть цепь и... И он опять никому ничего не сказал: крысы так крысы, пусть все идет, как пошло, как определено судьбой. Но при этом он все время видел грызунов и провисшие провода, мусор и сушь, старый деревянный дом и безлюдную его половину. Видел, подавлял в себе страх и нервно, истерично просил Иванышину как можно скорее перебраться на снятую им впопыхах дачу.

Он даже шестого забежал прямо с работы. Говорил, что Алла пропадает там одна с ребенком, просил немедленно уехать за город, и Антонина Федоровна опять таяла от блаженства. Олег понял, что заупрямилась она надолго, сказал: «Ну что ж, до завтра тогда», поцеловал в лоб и ушел. А пока она переживала свое небывалое счастье, Олег на кухне шепотом инструктировал перепуганную Тонечку Маленькую:

— Чтoб из дома — ни ногой! Никуда! Ни под каким видом! Ни на минуту! Поняла? Завтра утром вернусь и увезу ее. Силой увезу!

— Ага, конечно. Ага, обязательно. Ага, непременно, — бормотала Тонечка, с ужасом думая, уж не пронюхал ли заботливый сосед о *ней*, пустой двухкомнатной квартире и заветной ночи вдвоем.

И как только Беляков ушел, проскочила в комнату, забормотала, что уходит на всю ночь к Оксане, заботливо постелила постель Антонине Федоровне и поставила телефон подле ее кровати. А уходя, ловко выдернула штепсель из розетки, чтобы тетя Тоня не позвонила Оксане. Было восемь часов вечера. Олег уехал на дачу, Тонечка сбежала на всю ночь, и Антонина Федоровна осталась одна.

Тонечка не звонила весь вечер, но Антонина Федоровна не очень беспокоилась, понимая, что по девичьим понятиям позвонить никогда не поздно. А по ее понятиям и режиму подошло время ложиться спать: телефон рядом, она услышит звонок, даже если задремлет. И Антонина Федоровна, подъехав к постели, ловко выжалась на все еще сильных руках, качнула немощное тело и выбросила его из коляски на пружинно вздохнувшую кровать с колесиками, никелированными шишками и панцирной сеткой, ордер на которую ей вручили давным-давно. В сорок восьмом, что ли...

Она читала «Полководца» Карпова — она вообще любила книги о войне, а документальную военную прозу в особенности, — но часто отрывалась, потому что мысли ее шли сегодня путем самостоятельным. И ей думалось о том, как странно разделен мир на два начала, на мужчин и женщин, и что только в соединении, в союзе этих двух начал и заключена возможность счастья. И дело даже не в рождении ребенка — это результат, сумма, итог, но не самоцель. Нет, нет, цель в ином: цель во взаимном влиянии, способном чудесным образом удесятерять силы как мужчин, так и женщин, если, конечно, они любят друг друга. Впрочем, может быть, и это не главное: ведь ей легче было управляться со своей сотней солдат, чем иному мужчине, именно потому, что она была женщиной, и мужики рядом с нею становились лучше не потому, что хотели понравиться (хотя и этот элемент присутствовал: ефрейтор Вася Середа, к примеру, ставший лучшим бойцом ее роты и погибший сержантом на нейтралке от родимой пули), а потому главным-то образом, что она своим поведением, голосом, фигурой, походкой — самим присутствием своим в их короткой, как миг, фронтовой жизни вскрывала и умножала то лучшее, что каждый носил в себе на манер неприкосновенного запаса. И она тоже ощущала их влияние, тоже мобилизовала свои силы, делалась лучше...

Стоп, Антонина. Мобилизовала силы — правильно, а вот что значит: делалась лучше? Ты делалась грубее, жестче, резче, тверже, непреклоннее — разве это женские достоинства? Сомнительно. Женские качества — мягкость, нежность, ласковость: все то, что тебе приходилось подавлять в себе ежедневно и ежечасно. Война — мужское занятие: она вскрывала в тебе мужские черты, тщательно пряча женские. Нет, не у всех, конечно: медперсонала это не касалось, там как раз иное ценилось, подчеркнуто женское, милосердное, сострадательное. Но когда тебе самой убивать приходится, тут уж не до сострадания. Тут мужской закон действует, древний, как само человечество: убей или убьют тебя. И все, все вокруг было направлено к исполнению этого закона; все решительно: грубость, жестокость, воля, твердость, грохот, рев, пальба, дым...



Дым?.. Может, показалось? Может, это воспоминания привели к галлюцинациям, и никакого дыма нет и в помине?

Но дым существовал: першил в горле, щекотал в носу, чуть пощипывал глаза. Антонина Федоровна села, настороженно вглядываясь; верхний свет был погашен, горела только лампочка у изголовья, и разглядеть, что творится в темных углах, никак не удавалось. Но она смотрела и смотрела, чувствуя вползающий в комнату дым, и, не видя, уже поняла, что ползет он с той, нежилой половины. «Пожар, — сказала она сама себе. — Без паники, сейчас примчатся пожарные. А пока они будут мчаться, позвоню Оксане, и Тонечка...»

А телефон молчал. Антонина Федоровна постучала по нему, плотнее прижала трубку к уху, даже встряхнула ее, но в аппарате было тихо, ничего не гудело и не трещало. На миг ее охватило отчаяние, но усилием воли она подавила его: «Только без паники, только без паники...» С трудом изогнувшись, она руками попыталась сбросить мертвые ноги с кровати, чтобы потом, уцепившись за кресло-коляску, как-нибудь вскарабкаться на него, подъехать к окну, разбить стекло, крикнуть. Стиснув зубы, она раскачивалась на панцирной своей сетке, а ноги никак не удавалось сдвинуть с места, к самому краю, чтобы потом...

Нет, так ничего не получится: спина ее могла сгибаться только в одном направлении, словно и не ее была та спина. Вот если дотянуться до кресла, опереться о него, выжаться на руках и перетащить проклятые ноги... Она потянулась, пальцами почти коснулась кресла, рванулась из собственной омертвелой поясницы, сдвинулась даже, но от рывка потеряла равновесие. Рука ткнулась в кресло, и бесшумная, отлично отрегулированная и заботливо смазанная каталка мягко отъехала от кровати на пустынные, но уже недостижимые полметра.

— Помогите! Горим!..

Она крикнула во всю силу, но ровно два этих слова, и тут же привычно взяла себя в руки. Окно комнаты выходило во двор и было закрыто — от комаров, что ли, она попросила спешившую к подруге Тонечку закрыть его или боялась сквозняка? Какие комары, какие сквозняки, какая все это ерунда, когда дым лезет в горло, ест глаза и огонь вот-вот ворвется в комнату?.. Спокойно, Антонина, бери себя в руки и соображай, пока еще есть время.

Значит, так. Судя по всему, горит соседняя пустая квартира, от которой ее отделяет стена. Не очень капитальная, раз сквозь нее просачивается столько дыма. А если горит сама стена? Тогда огонь очень скоро засветится с ее стороны, займутся шторы, полки с книгами, старый комод... Первая ее мебель по разнарядке из военкомата: откуда он, этот комод, кому принадлежал, чье белье, чьи семейные альбомы и любовные письма хранил в своем древнем чреве?.. Стоп, не расплыться, не думать о постороннем, не терять зря ни мгновения. Ну выручай, Карпов, выручай свою фронтovou сестренку...

Она схватила «Новый мир», где была напечатана 2-я книга «Полководца», и, полулежа, вытянутой рукой, как гранату, швырнула журнал в окно. Она сама учила метать гранаты из положения «лежа» зеленых перепуганных парнишек на формировках. И «Новый мир» полетел, как и положено, только ударился не в стекло, а в переплет окна и упал на пол.

Она даже вскрикнула (не от страха — от злости) и выругалась так, как приходилось когда-то в другом дыму и другом огне. Что, скверно, когда баба ругается? Очень даже, а вы там, в том аду, в исступлении том без мата могли бы? Нет, были, конечно, которые не выражались, — говорили, Рокоссовский, мол, никогда такого не позволял, — ну, а она, двадцатилетний лейтенант Тонька Иваньшина, прибывшая после училища ускоренного выпуска на должность командира взвода, заматерилась в первой же атаке. Со страху, с отчаяния. И рейтузы мокрые были, и в сапогах хлопало, если уж до конца признаваться. Это в кино бабы красиво под пули бегут, а там, где пули настоящие да впереди своего взвода из девятнадцати, помнится, пареньков, там и заплачешь, и матом орать начнешь, и с жизнью прощаться, и мамочку звать — все, только бы не упасть до назначенного тебе рубежа. И только бы бойцы не подвели, только бы не залегли. «Вперед, за Родину, за Сталина! Вперед, мать вашу!..» Не упала.

Антонина Федоровна мучительно кашляла, задыхаясь от валившего дыма, и слезы ручьями текли из глаз. Какие слезы, Тонька, откуда? От дыма или от прошлого?.. Да, да, первый бой. Добежала, куда командир роты велел, и своих довела. Девять их оставалось: за бросок в триста метров десятеро души отдали. А она нарочно в лужу упала, чтоб не узнал никто, как во время первой ее атаки по ногам в сапоги текло...

А, черт, задыхаться прикажете? Нет уж, не будет этого! Спокойно, Тонька, опять в раму не угоди...

Антонина Федоровна вырвала из розетки шнур, обмотала им настольную лампу и метнула ее от бедра прямой рукой. Со звоном посыпались стекла, дым потянулся в разбитое окно, почти невидимый в серой июньской ночи. А вскоре и дышать стало легче, и кашель не так рвал грудь, и... и Иваньшина увидела отъехавшую от кровати коляску, комод, полки. И огонь тоже увидела. Он во многих местах прорвался сквозь стену, лизал полки, комод, книжки; что-то потрескивало, что-то вспыхивало, что-то еще только тлело, но от огня ее отделяли уже не бревна стены, а — шаги. Четыре шага, которых ей уже никогда не сделать и которые за нее сделает огонь.

Жанна д'Арк на костре сгорела. За Францию и короля. А она за что сгорит? А она не Жанна д'Арк, она — русская баба, что в двадцать лет, еще мужчин толком не познав, поднимала в атаку взвод. «Видишь, взводный, кустарничек под высоткой? Покуда до него не добежишь, не ложись и бойцам ложиться не давай, поняла? Там — мертвая зона, там отдышишься, там даже перекреститься можешь, что живой осталась».

Так ротный велел, и она добежала. Мокрая, правда, ну да ладно. Там отдышались, туда комбат людишек подбросил, а потом: «Вперед!», и на одном дыхании, на реве, на хрипе — вверх. На высотку. Вот там-то, на высотке, она своего первого и убила. Вылетел вдруг из щели прямо на нее, и она, не колеблясь, пять пуль в упор: до сей поры видится, как брызнула кровь с серого, как земля, немолодого и уже неживого лица, как упал тот фриц несчастный и бился на земле, хрипел, дугой выгибаясь. А она все смотрела, смотрела, глаз не могла отвести, а тут — комроты: «Живая, Тонька?» Сграбастал, целовал так, как никакую невесту не целуют, и сам — в слезах. А от нее — потом, грязью, порохом и страхом пахнет... А он все понял, все — умница был ротный, смелый и с характером, — все понял, прижал к себе: «Утром бриджи подарю, чтобы солдат не дразнила...» А через два месяца ранило его, ее первого ротного, тяжело ранило, что называется, навсегда, и приказано ей было командиром полка подполковником Зотовым роту принять. И она приняла, как положено, а потом всю ночь редела. Пила спирт с комбатом да старшиной, что по наследству вместе с ротой ей достался, и редела. А комбат — старый уж, из запасных, лет за тридцать — все по голове ее гладил да приговаривал: «Ранило бы тебя легонечко да поскорее...»

Ах, как книжки весело горят! Сами собой открываются, будто огонь просматривает их, прежде чем сожрать. Коробятся, топорщатся, изгибаются, словно живые: вот и она так же будет гореть. Только еще орать, наверно, начнет, не выдержит. А книги умирают молча.

Черт, может, зря она окно разбила? Задохнулась бы — все легче. А теперь дым вытянуло, не задохнешься. И никто не кричит, никто не ломится в дверь. Тонечка не идет, и пожарные не едут; и соседи не шумят: в их подъезде ведь еще две семьи остались, правда, за лестничным пролетом, в торцовой части. Значит, гореть придется?.. Ах, ну почему, почему она с Олегом на дачу не поехала?! Он же просил, умолял, сердился. Взял бы ее на руки, она бы обняла его за шею... Всю юность огонь там был, снаружи: дома горели, танки, самолеты, автомашины — и люди, конечно, тоже горели. Живьем все горело, а в тебе, как отражение, страсть бушевала. Поэтому ты с такой неженской легкостью и пошла на подпольный тот аборт, загубила дитя свое. Выжгло твою душу, до угольков выжгло, вот ведь что война сделала. А теперь и тело сожжет. Нет, не уйти нам от нее, никуда не уйти и не спрятаться.

Ох, какое полымя! Уж лицо не терпит, уж, кажется, и волосы вот-вот займутся, трещат уже. Ну, почему, почему, дура ты старая, почему с Олегом не уехала?! И где эту Тонечку черти носят, где?! Ведь горю, люди, горю-у!..

Молчать, Иваньшина, молчать, ротный. Жить достойно — это еще полдела, потому что это естественно. Вот помереть достойно — это посложнее, это — полтора дела, сто пятьдесят процентов. И не на миру, где она красна, эта самая смерть, а наедине с нею, с глазу на глаз. С глазу на глаз две старухи: ты и твоя смерть. Горячая она у тебя, Антонина, такая горячая, что и терпится уж с трудом. Ну здравствуй, старая, что скажешь? Погоди обнимать, руки твои больно горячи. Прохладная у тебя жизнь была, Тонька, зато горячая смерть: баш на баш, в среднем как раз то, что каждой бабе положено. Без любви ты тогда жила, с одной ненавистью... Без любви?..

Стоп, вранье: а лейтенант Валентин Вельяминов? Ты из любви к нему институт одолела, стала тем, кто ты есть, и горишь сейчас тоже из-за той, послевоенной своей любви. Но ведь

была и еще одна, самая первая. Никому и никогда ты о ней не говорила, но перед смертью врать не годится: Вася. Васька Середя, синеглазый полтавский парубок, твой телохранитель, связной, адъютант, денщик, разведчик — все он, сержант Середя. Ах, какой был парень! Чуть с ума не сошла, когда немцы его на ничейной земле подбили: он из ночного поиска возвращался, ста метров не дополз. Ах, как кричала в беспамятстве: чудом роту в атаку не подняла, чтобы его вытащить. Комбат вовремя примчался: «Не жилец он, не жилец, опомнись, ротный! Ты же из-за одного умирающего десяток живых уложишь!» — «Стонет! Не могу, комбат, не могу, стонет ведь, стонет!..» — «Да помирает твой сержант, Иваньшина, потому и стонет. Без сознания он уже, успокойся!» — «Не могу-у!.. Комбат, роденький, разреши самой слазить, самой вытащить. Разреши, комбат, жизнью своей заклинаю...» — «Слазить? Полнолуние, дура. Неделю светло будет, как на танцплощадке. Старшина, уведи ее. Силой волоки в землянку, слышишь?..»

Уволок ее старшина. Она кричала, билась, кусалась даже, кажется, а старшина молча впихнул ее в землянку, свалил на нары — и полушубок на голову. Потом комбат вошел в землянку, приказал отпустить. Она полушубок сбросила, старшине кулаком в лицо и — к выходу. «Не ходи, — сказал комбат. — Давай водки, старшина, царствие ему небесное, сержанту этому. Отмучился...»

За что это всё, а? Ведь грудью машину ту сволочную остановили, голой грудью против танков. Кто «ура!» кричал, кто маму звал, кто плакал, кто матерился, но — ложились. Ложились перед фашистскими танками ряд за рядом, пока немцы в нашей крови не захлебнулись.

А тебе, Антонина, бескровная смерть на роду написана. Много ты крови повидала, много пролила, а помирать доведется целехонькой: кровь раньше сворачивается. Помнишь сгоревших танкистов? Насмотрелась ты на них вдоволь — все сухие, как головешки, без глаз и без губ. Вот и ты... Да плевать, какая буду: важно одно — не закричать важно. Не заорать беспомощно, жалко, бессмысленно...

Ох, какая жара! Одеялом лицо закрывать приходится, чтоб глаза раньше времени не полопались. Боль — терпеть удержу нет, а ноги ничего не чувствуют. Вот это хорошо, это — подарок: до половины сгореть можно, и все — без боли, все будто чужое, будто отмершее давно. Господи, чего же ты, дура, комиссию упростила, чтоб во вторую очередь переселяли? Жила бы сейчас в прохладе... Ах, кабы знать, что тянется за нашим «да», за нашим «нет». Диалектика — она и при смерти диалектика, и паникует в тебе, Антонина, способ существования белковых тел, в борьбе утверждая право свое.

Грудь печет, жарко. И жалко: грудь до слез жалко, ей-богу. Каждой женщине природа что-то особенное для жизни дарит: кому — волосы, кому — ножки, кому — голос, а тебе, Тонька, грудь выдала. Такую соразмерную, точеную, такую спелую да тугую, что мужики от нее глаз оторвать не могли. На формировках или там когда большое пополнение полотенцем, бывало, затягивалась, чтоб скрыть подарок этот, чтоб один бугор бесформенный под гимнастеркой, пока мужики не привыкнут, не остынут, не успокоятся. А тогда — пожалуйста; полотенце долой, локотки назад и — пяльтесь, мальчики. И пялились. Еще как пялились-то!.. А она в каждом бою, в каждой перестрелке, при обстреле или при налете больше всего боялась, чтоб пуля или осколок в грудь не ударил. Руками, бывало, от пуль загоразивала, как полотенцем — от мужских глаз. И миновали ее грудь пули, и осколки тоже миновали, и нетрунутой она осталась. Потому что берегла всегда...

Выстрел!

Что это, неужто с ума сходишь: откуда выстрел-то, откуда? Не тот это огонь, не боя, а мира, и выстрелов быть не может...

Выстрел. И еще — выстрел. И пуля знакомо свистнула. Сквозь треск огня, сквозь гул пламени, сквозь вой — значит, рядом совсем пронеслась, если услышала. Что же это, откуда же? Может, оттуда, из одна тысяча девятьсот сорок третьего?

И снова часто-часто выстрел за выстрелом прорвались к ней сквозь сплошную стену огня, и только тогда поняла она, откуда и кто стреляет в нее сейчас. Поняла, и выпрямилась, и развернулась, сколько могла, подставляя грудь звеневшим вокруг пулям.

А из горящего комода, что достался ей по разнарядке военкомата, раз за разом били по ней пули из патронов к «вальтеру», принадлежавшему когда-то убитому ею германскому обер-лейтенанту...

Она уже не ощущала боли, а потому и не почувствовала страшного удара в грудь. Просто ее вдруг бросило на стену, и в ослепительно полыхавшем пламени она ясно-ясно увидела улыбающегося Васю Середу с неизменным автоматом на плече и своего первого командира роты, который целовал ее, мокрую, после первой ее атаки. Того, навсегда раненного, только был он сейчас не ранен и — улыбался. «Идем, — сказал. — Нам бы еще одну высоточку взять...» И протянул руку. «Ой, у меня же ноги мертвые», — подумалось ей, но она потянулась к нему, и встала легко, и пошла сквозь огонь, не чувствуя и не помня ни болей своих, ни болезней.